

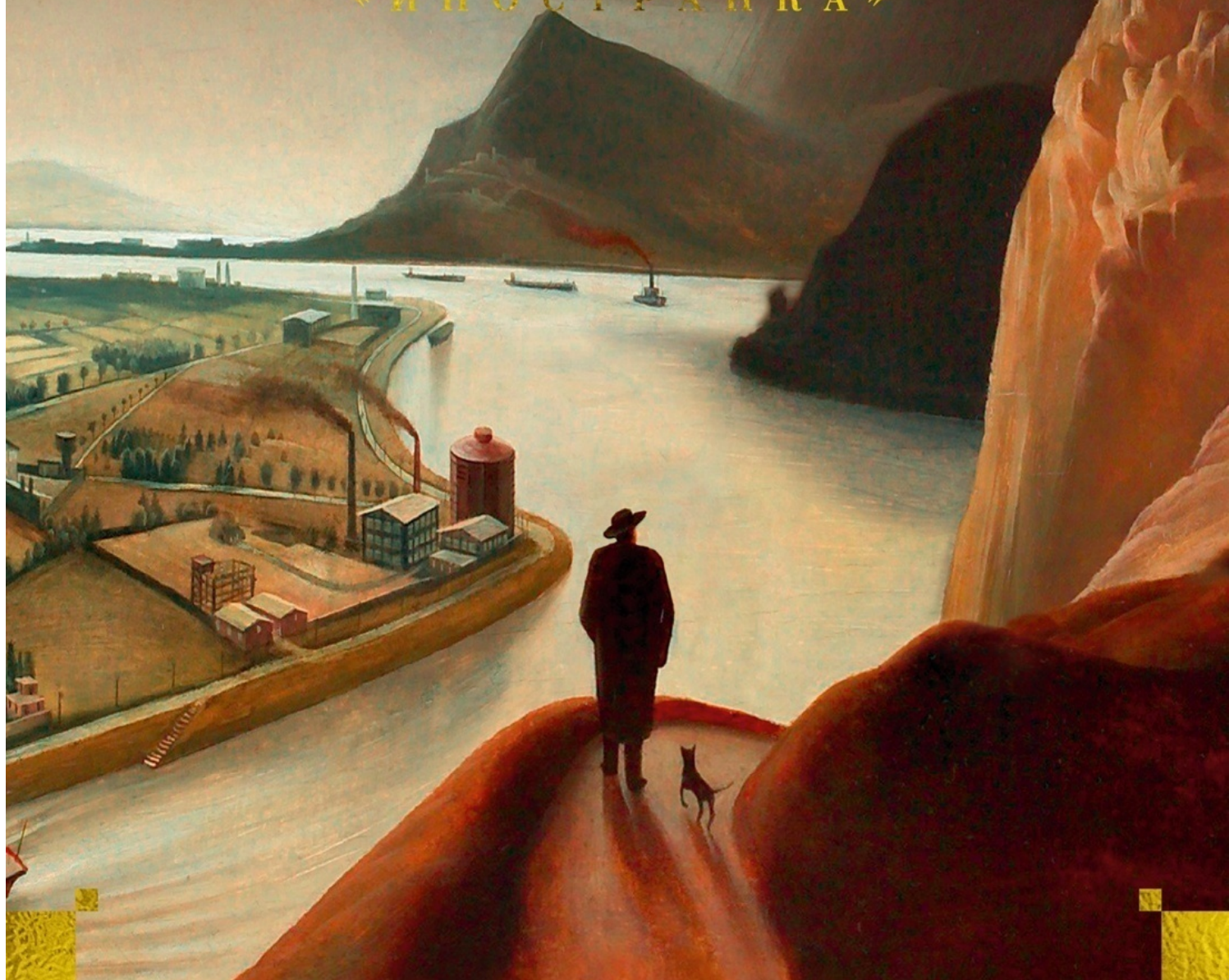
БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Лион  
Фейхтвангер

ЗАЛ  
ОЖИДАНИЯ

КНИГА 1  
УСПЕХ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Лион Фейхтвангер

**Зал ожидания. Книга 1. Успех**

«Азбука-Аттикус»

1930

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)-44

**Фейхтвангер Л.**

Зал ожидания. Книга 1. Успех / Л. Фейхтвангер — «Азбука-Аттикус», 1930 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24447-4

«Успех. Три года из истории одной провинции» — первый роман трилогии «Зал ожидания», впервые опубликованный в 1930 году. Работая над романом в течение трех предшествующих лет, Фейхтвангер создает всеобъемлющую панораму жизни Баварии, где в 20-х годах XX века стремительно набирает влияние политическая сила, которой совсем скоро оказалось суждено не только стать главенствующей в Германии, но и драматически повлиять на судьбу всего мира. Вымышленный Фейхтвангером процесс над искусствоведом Мартином Крюгером, с которого начинается роман, становится в нем точкой невозврата, демонстрацией бессилия действующей власти против вызовов современности, катализатором популярности энергичной идеологии истинных патриотов и будущего успеха националистов с авторитетным лидером во главе... Пророчески трактуя события, вершащиеся на политической арене родной Баварии, как трагические, Фейхтвангер вынужден был покинуть Мюнхен и начал писать «Успех» уже в Берлине. С приходом к власти национал-социалистов его книги попали в список подлежащих сожжению, а 25 августа 1933 года писатель был лишен немецкого гражданства.

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-24447-4

© Фейхтвангер Л., 1930

© Азбука-Аттикус, 1930



## Содержание

Книга первая. Юстиция	7
1. Иосиф и его братья	7
2. Два министра	9
3. Шофер Ратценбергер и баварское искусство	15
4. Несколько слов о юстиции тех лет	20
5. Господин Гессрейтер демонстрирует	21
6. Дом девяносто четыре по Катариненштрассе дает показания	27
7. Человек в камере сто тридцать четыре	30
8. Адвокат доктор Гейер предостерегает	36
9. Политики баварской возвышенности	40
10. Художник Алонсо Кано (1601–1667)	45
11. Министр юстиции проезжает по своей стране	47
12. Письма из могилы	50
13. Голос из могилы и множество ушей	53
14. Свидетельница Крайн и ее память	56
15. Господин Гессрейтер ужинает у Штарнбергского озера	60
16. Обнюхивают спальню	65
17. Письмо из камеры сто тридцать четыре	69
18. Прощения о помиловании	72
19. Защитительная речь и голос в эфире	76
20. Несколько хулиганов и один джентльмен	79
Книга вторая. Движение	83
1. Вагон метрополитена	83
2. Кое-какие случайные замечания о правосудии	85
3. Посещение тюрьмы	89
4. Пятый евангелист	91
5. Fundamentum regnorum[2]	96
6. Нужны законные основания	100
7. Господин Гессрейтер ужинает в Мюнхене	102
8. Заметки на полях к делу Крюгера	108
9. Серо-коричневый жених	110
10. Письмо в снегу	114
11. «Пудреница»	116
12. Живая стена Тамерлана	120
Конец ознакомительного фрагмента.	124

# **Лион Фейхтвангер**

## **Зал ожидания. Книга 1. Успех**

Lion Feuchtwanger  
Erfolg

© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1948 and 2009

© В. С. Вальдман (наследник), перевод, 1964

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

\* \* \*

## Книга первая. Юстиция

### 1. Иосиф и его братья

В зале номер шесть государственного музея современной живописи в Мюнхене в первый год после войны в течение нескольких месяцев висела картина, перед которой нередко толпами собирались посетители. На картине был изображен коренастый человек средних лет, который с улыбкой, залегшей вокруг его упругих губ, глубоко запавшими, продолговатыми глазами смотрел на группу мужчин, с оскорбленным видом стоявших перед ним. Лица этих пожилых холерных людей выражали различные свойства их характеров: чистосердечие, скрытность, власть, благодушие. Но одно было общим у всех: они стояли крепкие, сытые, довольные собой, уверенные в своей порядочности, в правоте своего дела. Было ясно, что произошло какое-то досадное недоразумение, так что они имели полное основание чувствовать себя обиженными, даже возмущенными. Только один совсем еще молодой человек в этой группе, несмотря на то что за ним с особенным вниманием следили притаившиеся на заднем плане полицейские, не казался обиженным. Он внимательно и, пожалуй, даже с доверием глядел на человека с продолговатыми глазами, несомненно игравшего здесь роль судьи и властелина.

Изображенные на картине люди и их переживания казались и знакомыми, и в то же время странно чужими. Такое платье вполне можно было бы носить и в наши дни, но все же с подчеркнутой тщательностью было исключено все специфически модное, так что нельзя было определить, к какой эпохе и к какому народу принадлежат изображенные на полотне люди.

В каталоге картина номер тысяча четыреста тридцать семь значилась под названием «Иосиф и его братья, или Справедливость» (триста десять на сто девяносто), имя художника было Франц Ландгольцер.

Другие картины этого мастера не были известны. Приобретение государством этой картины наделало много шума. Художник нигде не появлялся. Ходили слухи, что он чужак и ведет где-то на лоне природы бродяжнический образ жизни. Говорили, что у него неприятные, вызывающие манеры.

Официальная критика не знала, как подойти к этой картине. Ее трудно было отнести к какой-либо категории. Налета дилетантизма, отсутствия профессиональных навыков у художника нельзя было не заметить; казалось даже, что он это намеренно подчеркивал. Странно старомодная, грубоватая манера письма, хотя она, как и самый сюжет картины, не представляла ничего сенсационного, все же возмущала критиков. Да и подзаголовок «Справедливость» звучал как вызов. Консервативные газеты отнесли к картине отрицательно. Новаторы защищали ее без особого подъема.

Честные утверждали, что безусловно сильное впечатление, производимое картиной, трудно объяснить с помощью обычного словаря художественной критики. Многие из посетителей снова и снова возвращались к картине, многие думали о ней, многие искали разгадки в Библии. Там они находили рассказ о том, как Иосиф подшутил над своими братьями. В свое время братья, за то, что отец любил его больше, чем их, и за то, что он вообще был иным, чем они, продали его в рабство. Иосиф стал могущественным человеком, министром продовольствия богатого Египта. Братья являются к нему, не узнают его и пытаются заключить с ним сделку на поставку хлеба. Когда они собираются в обратный путь, он приказывает спрятать в их вещах серебряный кубок и арестовать их по обвинению в краже. Они выражают по этому поводу свое справедливое возмущение и утверждают, что они – порядочные люди.

Именно этих порядочных людей, следовательно, и желал изобразить мастер, написавший картину номер тысяча четыреста тридцать семь. Вот они стоят, возмущенные, требую-

щие восстановления своих прав. Они явились сюда, чтобы заключить с крупным государственным чиновником выгодную для обеих сторон сделку. И вдруг их считают способными стащить серебряный кубок. Они совсем забыли, что когда-то продали мальчика, своего родного брата. Ведь с тех пор прошло много лет. Они крайне возмущены, но держатся с достоинством. А тот человек, улыбаясь, глядит на них своими продолговатыми глазами, и полицейские на заднем плане стоят, туповатые, но полные служебного усердия. И название картины – «Справедливость».

Впрочем, номер тысяча четыреста тридцать семь через несколько месяцев исчез из государственной картинной галереи. В нескольких газетах по этому поводу промелькнули шуточные заметки, многие посетители с сожалением отметили отсутствие картины. Но газеты понемногу перестали упоминать об этом, перестали задавать вопросы и посетители. Картина, как и создавший ее художник, была забыта.



## 2. Два министра

Министр юстиции доктор Отто Кленк, несмотря на дождь, отослал домой ожидавший его автомобиль. Он возвращался с абонементного концерта Музыкальной академии и был приятно возбужден. Теперь он пройдет немного, потом, может быть, выпьет еще рюмку вина.

В накинута на плечи своем любимом непромокаемом пальто, с неизменной трубкой в зубах, крепкий, высокий, он с удовольствием шагал под мерный шум июньского дождя. В ушах его еще звучали мелодии Брамса. Он свернул в обширный городской парк, так называемый Английский сад. С высоких старых деревьев падали капли. Упоительно пахла трава. Приятно было идти, вдыхая чистый воздух Баварской возвышенности.

Министр юстиции доктор Кленк снял шляпу, обнажив свой красно-бурый череп. Позади был тяжелый трудовой день. Но затем он слушал музыку. Хорошую музыку. Пусть ворчуны говорят что угодно – хорошую музыку надо слушать в Мюнхене. В зубах у него была трубка. Впереди – ночь, свободная от всяких дел. Он чувствовал себя свежим, словно на охоте в горах.

Жилось ему, если подумать хорошенько, отлично, прекрасно жилось. Он любил подводить итоги, с точностью устанавливать, в каком положении его дела. Ему было сорок семь лет – какая же это старость для здорового мужчины? Его почки были не совсем в порядке. Вероятно, именно от болезни почек он когда-нибудь отправится на тот свет. Но пятнадцать-двадцать лет у него еще во всяком случае впереди. Его двое детей умерли. От жены, добродушной высохшей старой козы, ожидать потомства ему уж не приходится. Но зато процветает этот парнишка Симон, которого ему родила Вероника, ставшая теперь экономкой в его горном имении Берхтольдсцелль. Он пристроил мальчишку в отделение государственного банка в Аллертсгаузене. Там он сделает карьеру; он, министр, еще дождется внуков с приличным общественным положением.

Итак, с этой стороны все обстояло более или менее благополучно. А вот что касается служебных дел, там все обстояло более чем благополучно: там уж решительно не на что было жаловаться. Вот уже год, как он занимает пост министра, руководит юстицией своей любимой Баварии. Здорово выдвинулся он за этот год. Так же, как его гигантская фигура и длинный красно-бурый череп возвышались над его в большинстве низкорослыми, круглоголовыми коллегами по кабинету, так же точно он ощущал и свое превосходство над ними в отношении происхождения, манер и интеллекта. Со времени подавления революции повелось, что наиболее способные люди из господствующей группы воздерживались от прямого участия в управлении этой маленькой страной. На министерские посты они посылали второстепенных чиновников и довольствовались тем, что дают направление политике, оставаясь при этом в тени. То, что он, Кленк, человек крупнобуржуазного происхождения, несомненно способный, вошел в правительство, вызвало некоторое удивление. Но он чертовски хорошо чувствовал себя там, со всей страстью грызся в парламенте с противниками, проводил в области юстиций националистическую политику.

Веселый, шагал он под мокрыми от дождя деревьями. За год своего пребывания у власти он успел показать, что руки у него крепкие. Вот хотя бы процесс Водички, в котором он защитил права баварских железных дорог и обставил имперское правительство. Или процесс Горнауэра, когда он исконную баварскую пивоваренную промышленность спас от позорнейшего посрамления. И вот теперь это дело Крюгера. По нем, этот Крюгер мог бы хоть до скончания веков оставаться на посту заместителя директора государственного музея. Он, Кленк, решительно ничего не имел против Крюгера. Он даже не сердился на него за помещение в музей этих неприятных картин. Он, Кленк, сам понимал толк в картинах. Но то, что Крюгер, козыряя своей чиновничьей «несменяемостью», насмеялся над правительством, говорил, что ему наплевать на него, – вот это уже было непростительно. Сначала пришлось терпеть. Флаухер,

министр просвещения и вероисповеданий, эта жалкая фигура, не смог справиться с Крюгером. Но у Кленка явилась блестящая идея, и он возбудил против Крюгера судебное дело.

Кленк широко улыбнулся, вытряхнул трубку, принялся своим могучим басом напевать какую-то мелодию из брамсовской симфонии, глубоко вдохнул запах полей и медленно затихавшего дождя. Вспоминая о своем коллеге, министре просвещения, Кленк всегда приходил в хорошее настроение. Этот доктор Флаухер был именно тем типом чиновника, выходца из крестьянско-мелкобуржуазной среды, каких правящая партия так охотно выдвигала на министерские посты. Ему, Кленку, доставляло удовольствие подзуживать его. Забавно было наблюдать, как этот тяжеловесный, неуклюжий человек, раздражаясь, беспомощно, словно собираясь боднуть, наклоняет голову, как его маленькие глазки на широком четырехугольном лице злобно сверкают, глядя на врага. За этим обычно следовала какая-нибудь тяжеловесная пресная грубость, которую Кленк без труда парировал.

Человек в непромокаемом пальто вытянул вперед руку, убедился, что дождь почти прошел, отряхнулся и повернул назад. Он задумал веселую шутку. Флаухер с самого начала хотел раздуть процесс Крюгера, сделать из него сенсацию. Черт знает, каких только пустозвонов не выдвигали теперь «черные» на министерские посты! Эти болваны на каждом шагу готовы были бить кулаками по столу, козырять, драть глотку. Он, Кленк, намеревался покончить с делом Крюгера изящно, без шума. Прямохонько с кресла руководителя государственного художественного музея отправить человека в тюрьму только за то, что он решился под присягой отрицать свою связь с женщиной, было в конце концов просто некультурно. Но Флаухер орал об этом деле на весь свет и заставлял все газеты кричать о процессе Крюгера. Тогда он, Кленк, послал одного из референтов министерства в имение доктора Бихлера, чтобы вывести точку зрения этого крупнейшего руководителя крестьянской партии и фактического тайного правителя Баварии. Доктор Бихлер, как и следовало ожидать от этого умного мужика, был, разумеется, того же мнения, что и Кленк. Он говорил об этих «мюнхенских ослах», вечно старающихся подчеркнуть, что власть в их руках. Как будто дело в видимости власти, а не в основной ее сущности. Об этих «ослах» Флаухер наверно еще не слышал: ведь референт министерства приехал только сегодня. Флаухер, должно быть, еще сидит в «Тиролер вейнштубе», ресторане старого города, где он обычно проводит вечера, и хвастает начинающимся завтра процессом. Кленк должен преподнести ему этих «ослов», сообщить ему мнение всемогущего человека. В таком удовольствии он себе не откажет.

Он повернул, быстро зашагал назад, нашел у выхода из парка машину.

Флаухер действительно находился в «Тиролер вейнштубе». Он сидел в кругу своих друзей в маленькой боковой комнате, где четверть литра вина стоила на десять пфеннигов дороже. Кленк нашел, что в этом ресторане его коллега кажется гораздо более на месте, чем среди вещей в стиле ампир в своем хорошо обставленном министерском кабинете.

Подчеркнуто бюргерский уют – деревянная облицовка стен, массивные, не покрытые скалками столы, старомодные, крепкие, рассчитанные на усидчивых людей скамьи – все это составляло рамку, вполне достойную доктора Франца Флаухера. Тяжеловесный, с широким, тупым, упрямым лбом, сидел он, окруженный людьми с устойчивым положением, с устойчивыми взглядами. В комнате было сумеречно от сигарного дыма и испарений сытных кушаний. Из соседней пивной через открытые окна доносилось пение популярной труппы народных певцов. Слова песни – смесь сентиментальности и обнаженной похоти. За окном темнела небольшая, тесная и угловатая площадь со всемирно знаменитым пивоваренным заводом. Итак, здесь, на привычном, крепком деревянном стуле, с таксой у ног, сидел министр доктор Франц Флаухер, и вокруг него – художники, писатели, ученые. Министр пил, слушал, возился с собакой. Сегодня, накануне процесса Крюгера, он был окружен особенным уважением. Он никогда не скрывал своей ненависти к этому Крюгеру. И вот теперь для всех должно было стать ясным,

что этот человек с извращенными художественными вкусами и в своей личной жизни был извращен и испорчен.

Появление министра юстиции сразу понизило настроение Флаухера. То, что своей победой над Крюгером он был обязан этому Кленку, было для него ложкой дегтя в бочке меда. Министр доктор Франц Флаухер не одобрял министра доктора Отто Кленка, хоть оба они и принадлежали к одной и той же партии и проводили одну и ту же политическую линию. Флаухера раздражал аристократический, полный сознания своего превосходства тон, которого по отношению к нему придерживался Кленк, раздражали его богатство, охота в горах, его два автомобиля, долговязая фигура, его властность и несерьезность; Флаухер не одобрял Кленка как такового и всего, что Кленку принадлежало. Ему небось все доставалось легко, этому Кленку. Его родители, деды и прадеды принадлежали к «большоголовым». Какое представление этот человек имел о жизни чиновника? Он, Франц Флаухер, четвертый сын секретаря королевского нотариуса в Ландсгуте в Нижней Баварии, каждый шаг своего пути, от колыбели и до министерского кресла, оплатил потом и с трудом проглоченными унижениями. Сколько потребовалось бессонных ночей и скрежета зубного, прежде чем ему удалось не только – не в пример своим братьям – одолеть греческий язык, но и окончить среднюю школу, ни разу не оставшись на второй год. Сколько нужно было хитрости и самоограничений, чтобы двигаться затем дальше по пути к чиновничьей карьере и не застрять в дороге. Сколько хождений и просьб, чтобы каждый раз сызнова закреплять за собой одну из клерикальных стипендий. Сколько усилий, чтобы, в качестве члена не признающего поединков католического студенческого союза, убеждать редакторов в необходимости помещать в газетах его статьи, со всех сторон освещавшие вопрос о праве и обязанности студентов отказываться от вызовов на дуэль. И все же, если бы не тот случай, когда возвращавшиеся после утренней кружки пива студенты-корпоранты, решив испытать степень его униженной покорности, высекли его, – если бы не этот счастливый случай, он так и остался бы на дне. Но даже несмотря на это, сколько раз еще приходилось ему скромно, но настойчиво ссылаться на перенесенные истязания, в которых, на его счастье, участвовал между прочим и сын одной влиятельной особы, сколько раз еще вынужден он был требовать возмещения «убытков», нанесенных ему этой историей, пока ему наконец не удалось выплыть на поверхность. А сколько раз пришлось потом, стиснув зубы, в душе сознавая свое превосходство, покорно склоняться перед волей всяких идиотов – вождей партии, из страха, что большая покорность какого-либо другого кандидата явится доказательством большей пригодности этого другого на пост министра.

С глубоким недоверием поглядывал Флаухер на Кленка, который под шум приветствий с медвежьей грацией усаживался за стол, с удовольствием отпуская остроты по адресу присутствующих, то благодушные, то полные желчи и яда. Отвратительный тип этот Кленк! Избалованный человек, для которого политика – просто забава, такой же способ заполнить жизнь, как вечер за покером в клубе или охота в Берхтольдсцелле. Какое понятие имеет этот Кленк о том, насколько он, Франц Флаухер, чувствует себя внутренне обязанным защищать старинные, твердо обоснованные взгляды и обычаи от распушенности, свойственной жадной до наслаждений эпохе? Война, переворот, все шире развивающееся общение с другими странами прорвали немало крепких плотин; он, Франц Флаухер, чувствовал себя призванным защищать последние оплоты от зловердных волн современности.

Какое значение имели такие вещи для Кленка? Вот он сидит, этот субъект с удлиненным черепом, с огромными лапами, украшенными длиннейшими ногтями. Для него, разумеется, недостаточно хорошо обыкновенное тирольское вино, он, видите ли, должен лакать дорогое бутылочное! Для него и процесс Крюгера, наверно, только новый забавный фокус. Этот легкомысленный человек даже и понять не способен, что обезвреживание такого субъекта, как Крюгер, можно считать столь же важным делом, как излечение мокнущего лишая.

Ведь обвиняемый по этому процессу доктор Мартин Крюгер – настоящий продукт этой ужасной послевоенной эпохи. Заняв свою должность во время революции, он в качестве заместителя директора государственного музея приобрел картины, вызывающие возмущение всех здравомыслящих и верных церкви людей. От двусмысленной, пахнувшей крамоллой картины «Иосиф и его братья» удалось избавиться относительно быстро. Но кроважидное, садистское «Распятие» художника Грейдерера и обнаженная женская фигура, производившая особенно бесстыдное впечатление тем, что являлась автопортретом художницы (до какой степени развращенности должна была дойти эта особа, рисовавшая самое себя голой и, словно девка, выставлявшая напоказ свои бедра и грудь!), – ведь эти две картины еще недавно позорили государственную картинную галерею. Его, Франца Флаухера, галерею, за которую он нес ответственность! Министра, когда он вспоминал об обеих картинах, охватывало чувство почти физического отвращения. Виновника всей этой мерзости, этого Крюгера, Флаухер не выносил – не выносил его изящно очерченных губ гурмана, его серых глаз и густых бровей. Когда однажды ему пришлось пожать Крюгеру руку – эту теплую, волосатую руку – своей собственной жесткой, жилистой рукой, он почувствовал нечто вроде изжоги.

Он тогда же, своевременно, принял все меры, чтобы разом избавиться от этого Крюгера. Но его коллеги по кабинету – и прежде всего, конечно, Кленк – высказали сомнение в целесообразности насильственных мер. Увольнение доктора Мартина Крюгера, пользующегося широкой известностью знатока истории искусств, в дисциплинарном порядке – «ввиду несоответствия занимаемой должности» – могло подорвать престиж города в области искусства, а подобные соображения в то время еще останавливали членов кабинета.

Вспоминая об этих доводах, помешавших ему давно уже разделаться с Крюгером, министр Флаухер заворчал так громко, что забеспокоилась лежавшая у его ног такса. Престиж в области искусства! Страна, которой он, Флаухер, служил, была страной земледельческой. Город Мюнхен, расположенный в центре этой страны, как по характеру своего населения, так и по своей структуре носил определенно крестьянский отпечаток. Об этом не мешало бы подумать господам коллегам по кабинету. Они должны были бы стараться оградить свою столицу от этой лихорадочной погони за наслаждениями, накладывающей свой гнусный отпечаток на все большие современные города. Вместо этого они, как идиоты, болтают о престиже в области искусства и тому подобной чепухе.

Министр Флаухер проворчал что-то, вздохнул, рыгнул, выпил вина, с досадой оперся локтями о стол и, склонив шишковатую голову, крохотными глазками уставился на благодушно восседавшего за столом Кленка. Кельнерша Ценци, уже много лет обслуживавшая этот стол в «Тиролер вейнштубе», стояла, прислонившись к буфету. Взглядом организатора следила она за своей помощницей Рези, не переставая в то же время с легким юмором наблюдать за расшумевшимися мужчинами, учитывая как колебания в их настроении, так и уровень остающегося еще в их стаканах вина. Эта полная, крепкая женщина с красивым широким лицом, страдавшая в связи со своей профессией плоскостопием, отлично знала всех своих постоянных посетителей. Она прекрасно заметила, как изменился министр Флаухер при появлении министра Кленка. Она знала, что Флаухер в этот час, если он в хорошем настроении, закажет вторую порцию сосисок, а если в плохом – редьку. Он не успел даже пробормотать до конца свое приказание, как редька уже очутилась перед ним на столе.

Престиж в области искусства! Как будто он сам, Флаухер, не любил, например, музыки? Но было просто признаком дегенерации, снобизмом – ради этого самого «престижа» спускать каждому «чужаку» всякую вызывающую выходку, всякое свинство. Министр Флаухер в порыве досады по рассеянности притянул к себе тарелку с остатками ужина своего соседа и бросил своей таксе кость. Даже и тогда, когда он занялся приготовлением по всем правилам искусства своей редьки, его не переставало терзать сознание того, как бесконечно долго ему пришлось терпеть в музее вредителя Крюгера.

Такса у его ног чавкала, грызла кость, глотала, жрала. Окончив возню с редькой, министр выжидал, пока отдельные ломтики водянистого корнеплода втянут достаточное количество соли. Сквозь открытые окна, несмотря на шум в ресторане, явственно доносились из находившейся напротив пивной звуки исполняемого сотнями голосов мюнхенского гимна: пока старый Петер стоит у Петерберга, пока течет по городу зеленый Изар, до тех пор не иссякнут в Мюнхене веселье и уют. Да, долго, долго пришлось Флаухеру ждать, пока он избавился от Крюгера. Пока – да, приходилось в этом признаться, – пока Кленк не дал ему в руки оружия против Крюгера. Флаухеру ясно представился этот час. Это было в такой же вечер, как сегодня, здесь же, в «Тиролер вейнштубе», за тем столиком, вон там наискосок, под большим выжженным пятном на облицовке, о котором с таким цинизмом говорил однажды писатель Лоренц Маттеи. На этом самом месте Кленк, с трудом сдерживая свой сильный бас, сначала в виде намеков и, по своему обыкновению, поддразнивающим, двусмысленным тоном, а затем уже в ясных словах преподнес ему тогда это «дело Крюгера», это ниспосланное богом дело о лже-свидетельстве, давшее возможность удалить Крюгера с занимаемой должности и потом при помощи процесса устранить его раз и навсегда. Это был великий вечер, он готов был тогда простить Кленку все его надутое высокомерие – такой подъем испытывал он от сознания победы правого дела и гибели злого.

И вот настает долгожданный день. Завтра процесс начнется. Он, Франц Флаухер, до конца насладится победой. Он будет стоять, массивный, представительный, какими он не раз видел священников на амвоне деревенской церкви, и внушительно возгласит: «Глядите, вот каковы они, безбожники! Я, Франц Флаухер, с самого начала почуял в нем дьявола».

Он принялся за достаточно уже пропитавшуюся солью редьку. К каждому ломтику полагось добавить немного масла и кусочек хлеба. Но он ел машинально, без обычного наслаждения. Приподнятое настроение, в котором полтора часа назад он покинул свою квартиру, исчезло с той самой минуты, как появился Кленк. Тот с показным добродушием не обращает внимания на Флаухера, но это лишь притворство: сейчас он с самым невинным и приветливым видом поднимет его на смех.

И вот он действительно услышал густой бас Кленка:

– Да, кстати, коллега, мне необходимо вам кое-что рассказать.

Вряд ли это сообщение будет особенно радостным. Густой бас Кленка звучал спокойно, но Флаухер ясно различал в словах коллеги намерение уязвить его. Кленк неторопливо вытянулся во весь свой огромный рост. Флаухер продолжал сидеть, склонившись над последними ломтиками редьки. Но Кленк сделал приветливый, благодушный жест, и Флаухер против своей воли тоже встал. У буфета стояла кельнерша Ценци и глядела на него. Ее проворная помощница Рези, не переставая болтать с одним из посетителей и не забывая в то же время переменить тарелку на другом столике, также поглядела вслед обоим мужчинам, вместе дружно направлявшимся в уборную. Флаухер шел с тем мрачным чувством, которое он испытывал будучи студентом, когда его вызывали на дуэль.

В выложенной фаянсовыми плитками уборной Кленк рассказал Флаухеру о беседе своего референта с вождем крестьянской партии Бихлером. Нет, Бихлер не сочувствовал тактике министра Флаухера в вопросе о процессе Крюгера. «Осел», – сказал, как сообщают из достоверных источников, Бихлер. Так вот прямо, без обиняков и сказал: «Осел». Нужно признаться, что и он, Кленк, ни в коей мере не разделяет взглядов уважаемого коллеги в этом вопросе. Но «осел» – это, конечно, чересчур сильное выражение. Все это Кленк выкладывал, нисколько не стараясь умерить свой громовой бас. Он так орал, что, конечно, его было слышно и за стенами уборной.

Мрачный, сутулясь еще больше обычного, вышел министр просвещения Флаухер, бок о бок с весело болтавшим Кленком, из облицованного фаянсовыми плитками помещения. Он так и знал: ему не дадут насладиться победой. Нечего было и думать противиться ясно

выраженной воле агрария Бихлера, фактического правителя Баварии. Приходилось отойти в сторону, отказаться от триумфа. Оплевано было для него теперь все, весь процесс. Молча сидел он, склонившись над остатками своей редьки, оттолкнув ногой повизгивавшую таксу, с мрачной злобой прислушиваясь к все новым раскатам смеха, вызываемым веселыми шутками Кленка.

Понурый и ворчливый вернулся в этот вечер министр Флаухер в свою квартиру, которую несколько часов назад, предвкушая процесс Крюгера, он покинул в таком приподнятом настроении. Усталая, боязливо ощущая печаль своего хозяина, такса скользнула в свой уголок.



### 3. Шофер Ратценбергер и баварское искусство

Председательствующий, ландесгерихтсдиректор доктор Гартль, общительный блондин, сравнительно молодой – ему едва ли было пятьдесят, – с небольшой лысиной, был любителем изящества, ловкости в ведении судебных процессов. Среди баварских судебных чинов было не много столь же способных достойным образом вести процесс, привлечший внимание всей страны. Он знал поэтому, что правительству некому больше поручить это дело и что он может действовать, как ему заблагорассудится, лишь бы конечный результат, то есть в данном случае осуждение обвиняемого Крюгера, соответствовал политике кабинета. Богатый и независимый, честолюбивый судья чувствовал себя очень важной персоной. Не мешало показать правительству, что он умеет всесторонне использовать свои способности и представляет собой фактор, с которым необходимо считаться. Его истинно баварские, консервативные убеждения находились вне всяких подозрений. Умело подобранный состав присяжных являлся солидной страховкой. В смысле юридических знаний он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы, опираясь на гибкие параграфы, юридически обосновать любой приговор, – почему же не позволить себе роскошь такое громкое дело, как этот процесс Крюгера, провести утонченно-художественно, показать свое умение понять все человеческие слабости?

Руководствуясь безошибочным инстинктом в создании нарастания впечатлений, он ограничил допрос обвиняемого формальными вопросами, приберегая эффекты к тому моменту, когда внимание начнет ослабевать. Пришлось ждать довольно долго, пока наконец он не распорядился вызвать главного свидетеля обвинения.

При появлении шофера Франца Ксавера Ратценбергера все шеи вытянулись, к глазам поднялись лорнеты, и лихорадочно заработали зарисовщики больших газет. Маленький, толстенный, круглоголовый человек с светлыми усами, польщенный общим вниманием, выступал с важностью и деланой непринужденностью в непривычном и стеснявшем его черном сюртуке. Скрипучим голосом, на местном диалекте он обстоятельно отвечал на вопросы, касавшиеся его личности.

Безмолвно прислушивались присутствующие к нескладным, ничего в сущности не говорящим словам, которыми этот низкорослый человечек с крохотными глазками решительно подтверждал виновность Крюгера. Итак, три с половиной года назад, в ночь с четверга 23 на пятницу 24 февраля, он в три четверти второго вез обвиняемого Крюгера с какой-то дамой с Виденмайерштрассе до дома номер девяносто четыре по Катариненштрассе. Здесь доктор Крюгер вместе с дамой вышел из автомобиля и, расплатившись с ним, вместе с дамой вошел в дом. Крюгер во время разбирательства дисциплинарного дела, возбужденного вскоре после этого против ныне покойной Анны Элизабет Гайдер, под присягой показывал другое, а именно утверждал, что в ту ночь проводил свою даму до ее квартиры, а затем в том же автомобиле поехал дальше. Таким образом, если придавать веру словам шофера Ратценбергера, Крюгер был виновен в даче на суде под присягой заведомо ложных показаний.

Председатель с подчеркнутым беспристрастием, не дожидаясь вмешательства защитника доктора Гейера, поставил свидетелю на вид неправдоподобность его показаний. Описываемые события имели место три с половиной года назад. Как же мог Ратценбергер, перевезший за это время тысячи пассажиров, с такой точностью помнить все подробности, относившиеся к доктору Крюгеру и его спутнице? Не перепутал ли он дат или личностей? Дружелюбно-небрежным тоном, каким председатель суда имел обыкновение говорить с людьми из народа, продолжал он беседовать со свидетелем, вызвав даже беспокойство у прокурора.

Но шофер Ратценбергер был хорошо натаскан и не скупился на ответы. В других случаях он, мол, не мог бы с такой уверенностью говорить о личностях и сроках, но 23 февраля был день его рождения, он отпраздновал его и, собственно говоря, решил в эту ночь не работать. Все же

он выехал, так как не был оплачен счет за электричество и его старуха ныла до тех пор, пока наконец он не решился выехать. (Корреспонденты отметили смех в зале при этих словах.) Было чертовски холодно, и он чертовски злился бы, если бы не удалось заполучить пассажира. Его стоянка была у Мауэркирхенштрассе, где живут богатые господа. Вот он и посадил пассажиров – этого самого господина Крюгера с дамой. Господа эти вышли из дома по Виденмайерштрассе, где все окна были освещены. По-видимому, там было какое-то большое празднество.

Все это он выложил своим скрипучим голосом с самым прямодушным видом, слегка причмокивая после каждой фразы и стараясь объясняться как можно яснее. Он производил впечатление порядочного человека и казался достойным доверия. Судьи, присяжные, журналисты и публика с интересом прислушивались к его показаниям.

Почему, – поинтересовался председатель (он также заговорил теперь на местном наречии, что привлекло к нему общие симпатии), – почему, собственно, Ратценбергер обратил внимание на то, что доктор Крюгер вместе с дамой вошел в дом по Катариненштрассе? Шофер ответил, что он и его товарищи всегда очень интересуются такими вещами, так как пассажир, провожающий даму и входящий с нею в дом, обычно не скупится на чаевые.

Каким образом он в темноте так ясно разглядел лицо обвиняемого, что теперь с уверенностью решается опознать его?

– Такого человека, как господин Крюгер, – помилуйте! – ответил шофер. – Его мудрено не узнать!

Присутствующие вглядываются в обвиняемого, рассматривают его крупное лицо, широкий лоб, низко заросший черными до блеска волосами, серые глаза под густыми темными бровями, большой мясистый нос, изогнутую линию рта. Да, правильно: это лицо легко было запомнить. Было вполне правдоподобно, что шофер мог и несколько лет спустя узнать его.

Обвиняемый сидел неподвижно. Его защитник, доктор Гейер, внушил ему, чтобы он сам не вмешивался в ход прений, предоставив это ему, защитнику. Доктор Гейер охотно также стер бы с лица обвиняемого залегшую в уголках его губ вызывающую улыбку, отнюдь не способную привлечь на его сторону симпатии присутствующих.

Адвокат, сухощавый белокурый человек с тонким крючковатым носом, с редкими волосами, с быстрыми голубыми глазами за толстыми стеклами очков, с трудом владевший своим нервным лицом, ясно понимал, что, задавая наводящие вопросы, председатель преследует цель не поколебать, а укрепить доверие к показаниям свидетеля. Для него стало ясно, что к возращению, будто шофер не может через три с лишним года помнить, как вел себя его пассажир, здесь хорошо подготовлены. Поэтому доктор Гейер решил повести на него наступление с другой стороны. Он сидел напряженный и готовый к действию, словно заведенный и уже вздрагивающий автомобиль, готовый рвануться с места. Легкая краска то покрывала его лицо, то сбегала с него. Настойчиво, не спуская своих зорких глаз с шофера, он принялся с самым невинным видом издали перебирать его не внушавшее особого доверия прошлое.

Шофер Ратценбергер неоднократно менял места службы. Большую часть войны он провёл в тылу, затем наконец попал на фронт, был засыпан в окопе землей и, ввиду тяжелого ранения, снова возвращен в тыл. Дома, опираясь по каким-то причинам на особую протекцию, добился возможности окончательно снять военную форму. Женился на девице, имевшей от него уже двоих довольно больших детей и получившей к этому времени маленькое наследство. На деньги жены он приобрел таксомотор. Детей, особенно своего сына Людвига, он по-своему грубо баловал, но жена его в то же время неоднократно обращалась в полицию с жалобами на нанесенные ей побои. Ходили также слухи и о каких-то семейных ссорах, во время одной из которых Франц Ксавер Ратценбергер ранил в голову своего брата и был уличен своими родными в наглой и грубой лжи. На него неоднократно поступали жалобы от владельцев и шоферов частных автомобилей за оскорбления и угрозы. Ратценбергер объяснял эти жалобы враждебностью частных автомобилистов, питавших, по его словам, особую ненависть к шоферам

такси, управлявшим машинами лучше, чем эти господа. Кроме того, заявил он, после войны он был подвержен вспышкам гнева даже по самым незначительным поводам. Однажды, по непонятной даже ему самому причине, он покушался на самоубийство: неожиданно для всех, с криком: «Прощай, чудный край!» – соскочил с парома, переправлявшегося в окрестностях Мюнхена через Изар, но был выловлен из воды.

Адвокат Гейер выразил удивление, как это такому нервному человеку дано было разрешение на управление таксомотором. Известно было, что шофер Ратценбергер любил выпить. «Сколько?» – прозвучал настойчивый, неприятный голос доктора Гейера. «Примерно три литра в день». – «Иногда и больше?» – «Иногда и пять». – «Случалось, и шесть?» – «Случалось». – Не был ли однажды составлен полицейский протокол по поводу того, что он избил пассажира, не давшего ему на чай? – Возможно. Должно быть, этот прохвост чем-нибудь обидел его. Оскорблять себя он никому не позволит! – Дал ли ему доктор Крюгер в тот раз на чай? Как это так он не помнит? Но ведь как раз в связи с чаевыми он и приглядывается так внимательно к пассажирам, провожающим женщин. (Быстрый, звонкий голос адвоката словно ударял по свидетелю, явно смущая его.) Возил ли он обвиняемого когда-нибудь еще? Этого он также не помнит? Но ведь правда, что против него было возбуждено преследование и ему грозило лишение прав водителя такси?

Под градом сыпавшихся на него вопросов адвоката свидетель смущался все больше и больше. Он все чаще причмокивал, жевал свои рыжеватые усы и окончательно перешел на местный диалект, так что иногородние репортеры с трудом улавливали смысл его слов. Но тут вступился прокурор. Вопросы защитника не имеют-де прямого отношения к делу. Председатель из подчеркнутого человеколюбия по отношению к обвиняемому все же разрешил постановку вопросов.

Да, так вот: дело против него действительно было однажды возбуждено. Как раз по поводу этого якобы имевшего место избиения пассажира. Но это дело было прекращено. Показания этого пассажира, какого-то прохвоста, «чужака», желавшего лишь увильнуть от уплаты по таксе, не подтвердились.

Снова на мгновение вспыхнули краской щеки доктора Гейера. Он усиливал свое наступление. Не без труда принуждал он к покою свои узкие, покрытые тонкой кожей руки. Его высокий, звонкий голос впивался в свидетеля четко, неумолимо. Он пытался установить связь между нынешними показаниями шофера и возбужденным против него делом, грозившим ему лишением водительских прав. Он стремился доказать, что дело против шофера было прекращено, когда выяснилась возможность использовать показания Ратценбергера против Крюгера. Он подходил издали, задавал самые невинные вопросы. Но недаром Ратценбергер, ища поддержки, поглядывал на председателя – доктор Гартль счел нужным вступить. Здесь вырастала непроницаемая стена. Так и не стало известно суду, как неопределенны были первоначальные показания Ратценбергера, как перед ним в ходе допроса то вырисовывалась угроза потери прав водителя такси, то снова исчезала, пока его показания не приняли совершенно твердого характера. Не узнали слушатели и о нитях, тянувшихся от полиции к судебным властям, от судебных властей к министерству просвещения и вероисповеданий. Здесь все было смутно, неопределенно, неуловимо. Все же почва под ногами шофера Ратценбергера оказалась несколько поколебленной. Но под конец при поддержке председателя он с помощью ходячей остроты обеспечил себе приличное отступление: он, может, разочек в жизни и в самом деле был недостаточно вежлив с пассажиром, но пусть опросят кого угодно – любой шофер в городе ездит лучше, когда в брюхе у него переливаются кружки две пива. После этого его отпустили, и он удалился, убежденный, что по совести выполнил свои свидетельские обязанности. Он уносил с собой симпатии многих, твердые надежды на хорошие чаевые и полную уверенность, что, если опять какой-нибудь наглый пассажир станет обвинять его в насилии, такси все равно останется за ним.

Вслед за этим суд занялся выяснением подробностей вечеринки, предшествовавшей злополучной поездке на автомобиле. Эта вечеринка происходила в последний год войны. Одна дама, родом из Вены, пригласила к себе человек тридцать гостей. Квартира была убрана мило, без особых претензий. Пили, танцевали. Жилыцы из нижней квартиры, по ряду причин относившиеся к венке недоброжелательно, вызвали полицию – было-де величайшим безобразием пить и плясать во время войны. Полиция переписала гостей. Лиц, по возрасту подлежащих призыву в армию и не имевших протекции, несмотря на признанную ранее непригодность к военной службе или «броню», вслед за этим отправили на фронт.

Дама, устраивавшая вечеринку, дружила с левыми депутатами ландтага, поэтому власти постарались по возможности раздуть этот инцидент. Безобидные танцы были в мгновение ока превращены в отвратительную оргию. Красочные подробности якобы происходивших там непотребных действий передавались из уст в уста. Даму выслали из Баварии. Ее муж, занимавший видное положение, умер за два года перед тем. У нее остался от него ребенок. Родственники мужа сейчас же предприняли ряд шагов с целью устранить ее от опекуинства над ребенком, ссылаясь на ее предосудительное поведение. Мюнхенские обыватели, возбужденно улыбаясь и смакуя, передавали друг другу все более сочные подробности того вечера; они с возмущением, но всегда с большим интересом распространялись об утонченных наслаждениях, свидетельствующих о падении нравов всякого рода «чужаков». Термином «чужак» в Мюнхене обозначался всякий, кто по своему внешнему виду, образу жизни или хотя бы дарованиям выделялся из общей массы среднего класса.

Отрицал ли доктор Крюгер, что вместе со своей дамой присутствовал на вечеринке на Виденмайерштрассе? Нет. Путем сложного сопоставления доказательств обвинение пыталось установить правдоподобие показаний шофера: чувственная атмосфера, царившая на вечеринке, создала-де предпосылки к тому, что Крюгер вместе со своей дамой поднялся к ней в квартиру. Прокурор потребовал дальнейшего ведения заседания при закрытых дверях ввиду опасности, грозившей общественной нравственности. Гейеру удалось отвести этот удар, главным образом благодаря тому, что председателю не хотелось лишиться симпатии публики, начавшей при таком предложении выражать неудовольствие. Но затем тут же, в открытом заседании, начались картинные описания происходившего на вечеринке: разбросанных по полу подушек, бесстыдных, чрезвычайно чувственных танцев, тусклого, создававшего определенное настроение освещения.

Доктор Гейер считал нужным заметить, что, если на вечере действительно царило такое приподнятое настроение, доктор Крюгер вряд ли бы так рано удалился. На это прокурор очень ловко возразил, что именно возбуждающая обстановка вечера и вызвала у обвиняемого стремление остаться со своей дамой наедине. Председатель, придерживаясь примирительного, всепонимающего тона, умудрялся извлекать из показаний свидетелей все больше мелких черточек, как будто вполне невинных, но в освещении прокурора казавшихся крайне двусмысленными. Присутствовали ли на вечере лица обоего пола? Не лежали ли гости на раскиданных всюду подушках? Не подавались ли возбуждающие кушанья, например немецкая икра?

Подвергли допросу и даму, устраивавшую вечеринку. Не присутствовали ли на этом вечере одновременно двое мужчин, с которыми она когда-то была в связи? Не танцевала ли она с обоими? Не оказала ли она сопротивления при появлении полиции? Не вступила ли она с полицейскими в драку? – Свидетельница, пышная, крупная женщина с красивым, полным лицом, страдала от духоты плохо проветренного помещения. Ее показания звучали нервно, истерично. Она вызывала в публике смех и то полупрезрительное благожелательство, с каким местные жители обычно относятся к продажным женщинам. Из ее показаний выяснилось, что она вовсе не вступала в драку с полицейскими: она всего только – когда один из полицейских схватил ее за плечо, – не оборачиваясь, ударила по его руке веером. Осуждена она была не

за сопротивление властям, а лишь за нарушение предписаний о нормах потребления угля и электричества, так как свет горел одновременно более чем в одной комнате. Но, в то время как насилие шофера Ратценбергера по отношению к пассажиру встретило среди присутствовавших благодушное сочувствие, удар веером, нанесенный этой дамой, вызвал двусмысленные улыбки и покачивание головой. Здесь было во всяком случае лишнее доказательство распушенности, царившей среди этих «чужаков». Публика была вполне удовлетворена. Она испытывала приятное возбуждение и даже склонна была признать «наличие смягчающих вину обстоятельств» для обвиняемого.

Все-таки, несмотря на все искусство доктора Гейера, суду удалось добиться того, что все слушатели прониклись уверенностью в виновности Крюгера.

Шофер Ратценбергер, празднуя в тот же вечер в ресторанчике «Гайсгартен» свое выступление на суде, был окружен знаками всеобщего уважения своих постоянных собутыльников, завсегдатаев этого заведения. Даже родные, обычно считавшие его лодырем и прохвостом, в этот вечер готовы были признать его молодчиной, а жена, много раз жаловавшаяся на мужа в полицию за избиения и зная, что он женился на ней только ради возможности приобрести таксомотор и рад был бы от нее избавиться, в этот вечер была влюблена в него.

Но с большим восхищением, чем кто-либо из присутствовавших, внимал ему в этот вечер сын его Людвиг Ратценбергер, юноша с приятной внешностью. Почтительно глотал он каждое слово, медлительно выползавшее из-под обкусанных, мокрых от пивной пены отцовских усов. Никогда Людвиг Ратценбергер не испытывал ни малейшего уважения к своей вечно ноющей матери. Даже тогда, когда вместе с сестричкой нес за матерью шлейф при ее позднем венчании, даже и тогда питал он к этой жалкой женщине что-то вроде презрения. А отец – разве не был он всегда и всюду воплощением представительности?

Смутно, но сладострастно вспоминал Людвиг Ратценбергер, как отец, когда Людвиг еще не умел ходить, при помощи тряпки вливал в его жадный ротик пиво. Брань и проклятия отца, наполнявшие комнату, казались мальчику образцом мужественности. А позднее – часы восторга, когда отец – нарушая правила, так как Людвиг был еще слишком молод, – учил его управлять машиной! А блаженство сумасшедшей ночной езды на машинах, владельцы которых вовсе не были бы в восторге, если бы знали об этих экскурсиях! А какое огромное впечатление произвел на мальчика случай, когда отец, поссорившись из-за какого-то пустяка с одним автомобилистом, обругал его, а затем, в отместку за дерзкий ответ, проколол камеру стоявшей на улице машины врага. Людвиг и сейчас еще видел, как крался отец к машине и как он был счастлив после свершенной мести. И теперь, когда отца осыпали похвалами и посетители «Гайсгартена», и газеты, когда слава венчала всю его предшествующую жизнь, сердце мальчика ширилось в груди от восторга. Но оппозиционная пресса и некоторые газеты других провинций Германии высказывали свои соображения о связи между памятью шофера Ратценбергера и взглядами на искусство официальных кругов Баварии. Ведь если бы шофер Ратценбергер не запомнил так хорошо лицо этого Крюгера, невозможно было бы уволить последнего со службы и убрать картины, помещение которых в галерее он так упрямо отстаивал.

## 4. Несколько слов о юстиции тех лет

В те годы, после великой войны, юстиция на всем земном шаре больше, чем когда-либо, находилась под политическими влияниями.

В Китае во время гражданской войны правительство, в данный момент побеждавшее, вешало и расстреливало по суду за несовершенно совершенные преступления чиновников всех рангов, ранее служивших побежденному правительству.

В Индии вежливые судьи-империалисты, на основании спорных и чисто формальных юридических доводов, присуждали к многолетнему тюремному заключению вождей национального движения за написание различных статей и книг, в то же время почтительно раскладываясь перед благородством и твердостью их убеждений.

В Румынии, Венгрии, Болгарии обвиняемые евреи и социалисты после нелепой судебной комедии тысячами подвергались повешению, расстрелу или пожизненному тюремному заключению за якобы совершенные ими преступные деяния, в то самое время как националистов, если уж их привлекали к суду, оправдывали или подвергали ничтожным наказаниям (отменявшимся затем по амнистии) за действительно совершенные ими преступления.

Нечто подобное происходило и в Германии.

В Италии сторонники находившейся у власти диктатуры, уличенные в совершении убийства, оправдывались судом, а противники этой диктатуры изгонялись по постановлению тайного суда из страны, и имущество их конфисковывалось.

Во Франции оправдывали офицеров оккупационной Французской армии, обвиняемых в убийстве немцев. В то же время арестованные во время уличных столкновений парижские коммунисты присуждались к долголетнему тюремному заключению за недоказанные, якобы совершенные ими насилия.

В Англии примерно так же поступали с деятелями национального движения в Ирландии. Некоторые из них погибали от голодовки.

В Америке были освобождены члены националистического клуба, подвергшие линчеванию ни в чем не повинных негров. Иммигранты-итальянцы, коммунисты, обвиненные в убийстве, несмотря на убедительные алиби, были присуждены присяжными довольно крупного американского города к смерти на электрическом стуле.

Все это совершалось во имя «республики», или «народа», или «короля», и во всяком случае – во имя «права».

Дело Крюгера, как и ряд других подобных дел, рассматривалось в суде в июне одного из тех годов в Германии, в провинции, именуемой Баварией. Германия в то время была еще разделена на ряд отдельных самостоятельных провинций; Бавария включала в себя баюварские, алеманские, франкские территории, а также, странным образом, часть левого берега Рейна, так называемый Пфальц.



## 5. Господин Гессрейтер демонстрирует

В модном сером костюме, легко помахивая красивой фамильной тростью с набалдашником из слоновой кости, вышел из своей тихой и уединенной виллы на Зеештрассе, в Швабинге, вблизи Английского сада, коммерции советник Пауль Гессрейтер, один из присяжных в процессе Крюгера. Судебное заседание было по техническим причинам перенесено на одиннадцать часов, и он решил использовать свободное утро, чтобы прогуляться. Вначале он думал проехаться к Штарнбергскому озеру, в Луитпольдсбрунн, имение своей подруги, г-жи фон Радольной, выкупаться в озере и затем позавтракать у нее. На своем новом, купленном три недели назад, американском автомобиле он свободно поспел бы обратно к началу судебного заседания. Но по телефону ему ответили, что г-жа фон Радольная еще не вставала и не предполагает подняться сегодня раньше десяти часов.

Ленивой, упругой походкой, с медлительным изяществом шел Пауль Гессрейтер по залитому июньским солнцем Мюнхену. Несмотря на ясное небо и свежий, живительный воздух столь милой его сердцу Баварской возвышенности, он не ощущал обычного чувства удовлетворения и довольства самим собой, всем миром и своим родным городом. Он шел по широкой тополевой аллее вдоль Леопольдштрассе, вдоль палисадников и мирных домов. Мимо, весело звеня, мчались блестящие голубые трамвайные вагоны. По привычке он глядел на ноги садившихся в вагоны женщин, высоко открытые, согласно моде тех лет. С приветливой, сегодня несколько искусственной живостью отвечал на многочисленные поклоны.

Многие из встречных кланялись ему, кое-кто с завистью, большинство – доброжелательно. Да, хорошо жилось этому Гессрейтеру! Владелец бойко работавшей фабрики «Южно-германская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» и значительного состояния, перешедшего к нему по наследству, один из представителей уважаемого и очень богатого семейства, душа общества, хороший спортсмен, всегда любезный, прекрасно для своих сорока двух лет сохранившийся, он числился одним из пяти коренных мюнхенских бонвиванов. Нигде знакомые не бывали охотнее, чем в его доме на Зеештрассе и в Луитпольдсбрунне – поставленном на широкую ногу поместье его подруги.

Родной город г-на Гессрейтера, Мюнхен, с окружавшими его горами и озерами, с его значительными коллекциями и легкой, приятной для глаз архитектурой, с его карнавалом и празднествами, был лучшим городом во всей Германии; часть города, где жил Гессрейтер – Швабинг, – была самой красивой частью Мюнхена, дом Гессрейтера – самым красивым во всем Швабинге, а г-н Гессрейтер – лучшим человеком в своем доме. И все же сегодня он не получал удовольствия от прогулки. Он остановился под Триумфальной аркой. Над его головой возвышалась фигура Баварии, правившей четверкой львов, – величественная эмблема маленькой страны. Карие с поволокой глаза Гессрейтера, задумчиво шурясь, глядели на залитую солнцем Людвигштрассе. Но ее красивый, уютно опровинциализированный стиль ренессанс не доставлял ему обычного наслаждения. Он стоял, как-то неловко опираясь на трость, и в ту минуту этот обычно такой бодрый человек казался уже немолодым.

Неужели все дело в этом дурацком процессе? Ему следовало подчиниться первому побуждению – сразу же по получении повестки под каким-нибудь предлогом отказаться, не брать на себя роли присяжного. Как член аристократического Клуба господ, через свою приятельницу, баронессу Радольную, соприкасавшийся с кругами, близкими к бывшему двору, он с самого начала знал всю закулисную сторону крюгеровского процесса. А теперь вот он попал в самую гущу этой неприятной истории. Ему пришлось сидеть вчера, придется сидеть и сегодня, и завтра в большом судебном зале Дворца юстиции в ближайшем соседстве с ландсгерихтсдиректором Гартлем, доктором Крюгером, адвокатом Гейером, за одним столом с пятью другими присяжными: поставщиком двора Дирмозером, у которого он обычно поку-

пал перчатки; антикваром Лехнером, действовавшим ему на нервы своим большим пестрым носовым платком, в который он часто и обстоятельно сморкался; учителем гимназии Фейхтингером, с напряженным, мучительным и явным непониманием следившим из-за больших стальных очков за ходом процесса; страховым агентом фон Дельмайером, принадлежавшим к числу лучших местных семей (одна из улиц даже носила ее имя), но опустившимся, ветреным и склонным к самым безвкусным шуткам; и, наконец, почтальоном Кортеси, тяжеловесным, вежливым и старательным человеком, остро пахнувшим потом. Он ничего не имел против этих пяти лиц, но перспектива играть вместе с ними в процессе роль статиста не сулила никакого удовольствия. Он мало интересовался политикой, и ему казалось не совсем удобным устранить человека, используя с этой целью данные им из рыцарских побуждений показания под присягой. Не следовало принимать участия в этой истории. Проклятое любопытство втянуло его в эту свинскую штуку. Вечно нужно ему во все вникать! Его привлекла запутанность дела этого незадачливого Мартина Крюгера. Вот теперь ему и приходится расплачиваться и эти чудесные июньские дни просиживать во Дворце юстиции.

Он прошел под Триумфальной аркой, миновал университет. Из расположенного слева здания, отведенного под духовные учебные заведения, показались одетые в черные сутаны студенты-богословы с грубыми, спокойными мужицкими лицами. Какой-то древний профессор церковного права с безжизненным взглядом и лицом, похожим на мертвый, обтянутый желтой кожей череп, волоча ноги, бродил среди мирно плескавшихся фонтанов. Так было всегда, так, должно быть, останется еще довольно долго, и в этом таилось что-то успокоительное. Но как-то резко критически глядел сегодня Гессрейтер на студентов. Напрягая взгляд своих подернутых поволокой глаз, он внимательно смотрел на важничавших молодых людей. Многие из них, в ловко сшитых практичных куртках из грубой материи, с туго затянутыми поясами, походили на спортсменов. Другие, тщательно одетые, с отрывистыми, как у военных, движениями, прежде были, вероятно, офицерами. Сейчас, не найдя себе применения в кино или где-нибудь в промышленности, они пытались путем поспешного, с неохотой воспринимаемого обучения проскользнуть в судебные или городские учреждения. Над стройными, тренированными телами он видел немало беззастенчивых физиономий, свидетельствовавших о некоторых технических и значительных спортивных способностях, о решимости во что бы то ни стало поставить рекорд. Но при всей своей напряженности лица эти все же казались ему странно вялыми, словно автомобильные шины, еще как будто упругие, но уже проколотые, так что из них вот-вот выйдет весь воздух.

Перед широким зданием государственной библиотеки мирно сидели на солнышке высеченные из камня четверо мужчин древнегреческого типа с обнаженным торсом. В школе он учил, кого они изображают. Теперь он этого, разумеется, уже не помнил. Если ежедневно проходишь мимо кого-нибудь, следовало, собственно, знать, кто это. Он как-нибудь обязательно наведет справку. Как бы там ни было, библиотека хорошая. Пожалуй, даже жаль предоставлять такую библиотеку этим юношам с физиономиями рекордсменов. Мало мюнхенцев было среди них, среди всех этих будущих учителей, судей, чиновников. Когда-то прекрасный, уютный город привлекал к себе все лучшие умы страны. Как же это могло случиться, что все они теперь куда-то исчезли, что на их место, словно следуя магическому притяжению, устремлялось сюда все гнилое и скверное, что нигде больше в стране не могло удержаться?

Кто-то шедший ему навстречу буркнул слова приветствия, остановился, заговорил с ним. Широкоплечий человек в серовато-зеленой куртке, – маленькие глазки под круглым лбом, – доктор Маттеи, писатель, которому изображение верхнебаварского быта доставило широкую известность. Он и Гессрейтер иногда ночи напролет просиживали вместе в «Тиролер вейнштубе». Гессрейтер гостил у Маттеи в Тегернзее, Маттеи бывал у него и г-жи фон Радольной в Луитпольдсбрунне. Неуклюжий, ворчливый человек в зеленоватой куртке и небрежно изящный, в модном сером костюме, были на «ты», охотно встречались. Лоренц Маттеи возвращался

из картинной галереи Новодного, где сегодня, впервые после удаления их из государственного музея, были публично выставлены картины, возбудившие против Крюгера вражду благомыслящих людей. В связи с объявлением о предстоящей выставке в ночь на сегодня кое-кто из «благомыслящих» выбил стекла в галерее Новодного. Лоренц Маттеи был в восторге от такого развлечения. Он спросил Гессрейтера, не собирается ли тот полюбоваться этой мазней. Отпустив несколько сочных острот по поводу картин и упомянув о том, что он собирается написать стихотворение, высмеивающее благоговейно любующихся ими снобов, он рассказал еще довольно сальный анекдот о художнике Андреасе Грейдерере, написавшем картину «Распятие», вызвавшую немало нареканий. Но глаза Гессрейтера не следили с обычным восхищением за движениями толстых губ писателя. Он прислушивался только краем уха, смеялся несколько принужденно, уклонился от ответа на вопрос о своей деятельности присяжного и вскоре распрощался. Маттеи задумчиво покачал ему вслед круглой головой.

Г-н Гессрейтер направился к Дворцовому саду. Сегодня даже и речи писателя Маттеи, классика в области изображения баварского быта, были ему неприятны. В том состоянии раздражения, в котором он находился, он склонен был даже согласиться в общих чертах с врагами Лоренца Маттеи. Разве не был Лоренц когда-то бунтарем? Разве не сочинял он сочных, полных яда стихов, высмеивавших эгоистическую, глупую и лицемерную косность баварской клерикальной политической системы? Это были смелые стихи, больно язвившие противника своим фотографическим сходством с оригиналом. А теперь Маттеи разжирел (все мы постепенно обросли жирком), его остроумие притупилось, зубы начали выпадать. Нет, в Маттеи не осталось уже ничего привлекательного, и г-н Гессрейтер не мог понять, почему он дружил с ним. Крохотные, злые глазки на исполосованном рубцами лице... Как можно было питать симпатию к такому субъекту? Все, сказанное им о Крюгере и картинах, было просто омерзительно. Да и омерзительно вообще было то, что даже такого человека, как доктор Лоренц Маттеи, его горячая кровь так слепо бросила прямехонько в объятия правящей крестьянской партии. Да, он вообще не слишком много размышлял, как не размышляли и все мы, но сердце его, надо думать, всегда было на их стороне.

Г-н Гессрейтер дошел до Одеонсплаца. Перед ним возвышалась Галерея полководцев, построенная по образцу флорентийской Лоджии деи Ланци в честь двух величайших баварских полководцев Тилли и Вреде, из которых один не был баварцем, а другой – полководцем. При виде Галереи полководцев г-н Гессрейтер всегда испытывал какое-то недовольство. Он помнил, как еще мальчиком наслаждался прекрасным строением, с тонким художественным тактом сооруженным архитектором Гертнером в конце Людвигштрассе. Но еще юношей ему пришлось видеть и то, как по бокам лестницы были поставлены важно выступающие львы, нарушавшие строгие вертикальные линии строения. Позднее эти идиоты изуродовали заднюю стену галереи дурацкой академической группой, так называемым Памятником армии. С тех пор г-н Гессрейтер всегда с некоторым страхом поглядывал на Галерею полководцев, опасаясь, не выросло ли здесь за ночь еще какое-нибудь новое уродство. Постепенное обезображение лоджии служило ему барометром нарастающего одичания в его родном городе.

Сегодня в галерее играл военный оркестр. Прочувствованная ария из вагнеровской оперы лилась над площадью, полной гуляющей публики. Движение временами задерживалось. Автомобили останавливались, голубые трамвайные вагоны, непрерывно звоня, с трудом пробирались сквозь толпу. Тут было много студентов в корпоративных шапочках. Они приветствовали друг друга, низко, строго размеренно, под определенным углом сдергивая шапочки, наслаждались духовой музыкой. Г-н Гессрейтер улавливал отрывки их разговоров. Было твердо установлено, что, по велениям корпоративного устава, при подаче горячих блюд полагается снимать цветные шапочки, при подаче же холодных – можно оставаться в головных уборах. Спор шел о том, следует ли сырое рубленое мясо, смешанное с луком и яйцом, так называемый татарский бифштекс, рассматривать как горячее блюдо, идет ли оно за горя-

чее или нет. С большой пылкостью, приводя многочисленные доказательства, спорили об этом студенты, принадлежавшие к различным студенческим объединениям. Женщины и дети кормили ручных жирных голубей, гнездившихся в галерее сомнительных полководцев и у построенной в стиле барокко Театинеркирхе. У выхода из Дворцового сада, словно в дополнение к украшавшим галерею статуям, стоял во плоти и крови, повелительно возвышаясь над почтительно окружавшими его людьми, полководец великой войны генерал Феземан – судорожно молодцеватое лицо, плоский затылок, мясистая шея.

Перед тем как отправиться в суд, г-н Гессрейтер собирался было выпить рюмочку вермута в одном из тихих, малолюдных кафе в тени каштанов Дворцового сада. Но эта мысль внезапно перестала привлекать его. Он посмотрел на часы. Время у него еще было. Он все-таки взглянет на картины в галерее Новодного.

Г-н Гессрейтер был человек миролюбивый, живший в исключительно хороших условиях и отнюдь не склонный восставать против обывательских мнений и взглядов. Но его злил Маттеи. Гессрейтер читал кое-что из сочинений Крюгера – его книги и очерки, и прежде всего книгу об испанцах. Она не очень понравилась ему, показалась чрезмерно чувственной: вопросы пола были чересчур выпячены, все в целом производило впечатление преувеличения. Ему приходилось также и лично встречаться с Крюгером. Он показался ему изломанным и напыщенным. Но разве это могло служить достаточным основанием для таких злобных нападок? Неужели можно было упрятать в тюрьму человека только за то, что он поместил в музей картины, не пришедшиеся по вкусу каким-то полувыжившим из ума академикам, предпочитавшим видеть в картинной галерее свою собственную, никому не нужную мазню? Полное лицо г-на Гессрейтера выражало напряжение мысли и озабоченность, он недовольно жевал губами, и его посеребренные виски вздрагивали. Если посадить в тюрьму всякого, кто, однажды сойдясь с женщиной, затем станет отрицать этот факт, – до чего это может довести? Ведь это же не было массовым явлением. Завернув в Бриеннерштрассе, г-н Гессрейтер принужден был сделать над собою усилие, чтобы не ускорить до неприличия шаг, – так захотелось ему вдруг взглянуть на картины, из-за которых он вместе с другими пятью мюнхенцами должен был сидеть на скамье присяжных в большом зале Дворца юстиции.

Но вот он наконец и в галерее. Ему было жарко, и теперь он с удовольствием ощущал прохладу закрытого помещения. Владелец, г-н Новодный, темноволосый, маленького роста, изысканно одетый, обрадованно повел понимающего толк состоятельного гостя к картинам. Перед ними уже стояла небольшая группа посетителей, находившихся под неотступным наблюдением двух внушительного вида субъектов – собственной, домашней полиции, как пояснил г-н Новодный, ибо государственная полиция отказалась от охраны картин. Обычной скороговоркой он продолжал рассказывать: преследования баварского правительства привлекли к картинам такое внимание, какого даже он не ожидал. Поступил уже целый ряд солидных предложений об их приобретении. Просто поразительно, как художник Грейдерер буквально за одну ночь вошел в моду, вырос в цене.

Г-н Гессрейтер знал Грейдерера. Посредственный художник, между нами говоря, но вполне приемлемый член общества, с мужиковатыми, но в то же время приветливыми манерами. Он играл на губной гармонике и умел воспроизводить на ней даже сложные мелодии: Брамса, «Кавалера роз». Не раз проделывал это и в «Тиролер вейнштубе».

Г-н Новодный рассмеялся. Посетители «Тиролер вейнштубе», мюнхенские художники со своим раз навсегда установленным местом в истории искусства, солидной репутацией и определенным кругом выгодных покупателей, зеленели, по его словам, от злости ввиду такого неожиданного появления конкурента. Ведь картины Грейдерера воспринимались публикой точно так же, как и их собственные. Впрочем, Грейдерер говорит о своем успехе с наивной обезоруживающей радостью, так что все, за исключением этих самых конкурентов, готовы примириться с этой историей. Много лет он, забытый всеми, стоял в стороне, старея и уже потеряв надежду

на успех. Просто трогательно, как он теперь пытается заставить свою старуху-мать, руками и ногами отбивающуюся от такой чести, переменить сельскую жизнь в средневековой деревушке на жизнь городской матроны – с автомобилем, шофером, компаньонкой.

Г-н Гессрейтер слушал его, не испытывая ни малейшего удовольствия. Болтовня г-на Новодного раздражала его. Он был рад, когда словоохотливый господин удалился.

Г-н Гессрейтер взгляделся в картину Грейдерера. Ему было понятно, что это «Распятие» могло вызывать раздражение людей с чувствительными нервами. Да, но, боже мой, ведь те самые господа, которые сейчас были так шокированы, в других случаях проявляли достаточную крепость нервов: пережили войну без особых видимых потрясений, а затем проделывали или по крайней мере допускали вещи, требовавшие некоторого хладнокровия от людей, занимавших руководящие посты. К тому же им, несомненно, было безызвестно, что во всех галереях, в том числе, разумеется, и в мюнхенской, хранилось немало изображений Спасителя на кресте, отнюдь не производивших успокаивающего впечатления.

Все же удивительная штука этот успех Грейдерера! Потому только, что такой кретин, как Франц Флаухер, не выносит Крюгера, художник Грейдерер добивается успеха и заставляет свою старуху-мать из удовлетворенной жизнью крестьянки превратиться в отягченную заботами обитательницу большого города. Нет, тут что-то неладно, что-то неладно.

Анна Элизабет Гайдер, художница, нарисовавшая автопортрет, не использует шума, поднятого вокруг ее картины. Она умерла, покончила с собой самым непривлекательным способом, и ничего от нее не осталось, кроме грязного судебного процесса и этой единственной картины. Ведь она была странной особой, эта художница: она уничтожала свои произведения. А вокруг этой единственной, спасенной Мартином Крюгером картины создавалась атмосфера отвратительного судебного процесса.

Гессрейтер взгляделся в ее автопортрет и почувствовал странное волнение. Он не понимал, что в этом портрете могло быть чувственно возбуждающего. Каковы должны были быть мужчины, в которых одно представление о том, что женщина могла в таком виде изобразить самое себя, пробуждало похоть? Женщина глядела вдаль задумчивым и в то же время напряженным взглядом. Не слишком стройная и уж, конечно, не приукрашенная шея была как-то беспомощно и трогательно вытянута, груди мягко расплывались в нежно-молочном освещении картины и все же казались упругими. Все вместе было анатомически безупречно и вместе с тем поэтично. Пусть-ка почтенные господа из академии создадут нечто подобное!

Г-н Новодный уже снова был около гостя и что-то говорил.

– Что стоит, по-вашему, этот портрет? – неожиданно перебил его г-н Гессрейтер.

Г-н Новодный, удивленный, в сомнении поглядел на гостя, не сразу нашелся и назвал наконец крупную сумму.

– Гм! – произнес г-н Гессрейтер. – Благодарю вас, – сказал он затем и, церемонно попрощавшись, вышел.

Минут через пять он вернулся и принужденным тоном, как бы вскользь, заметил:

– Я покупаю картину.

Несмотря на всю свою опытность, г-н Новодный не мог скрыть удивления. Г-ну Гессрейтеру это было неприятно. Если уж г-н Новодный делает такие большие глаза, то что скажет г-жа фон Радольная, что будет говорить весь город по поводу покупки этой картины? И действительно, приобретение этой картины было демонстрацией. Процесс Крюгера и все его окружающее было не по нем. Под влиянием этого чувства он вернулся и купил картину. Но разве продемонстрировать перед другими таким кричащим способом не было несколько безвкусно? Разве было недостаточно тихо и решительно продемонстрировать перед самим собой, уяснить себе свою точку зрения?

Неуверенно и с какой-то неловкостью стоял он перед вежливо молчавшим Новодным.

– Я покупаю картину по поручению приятеля, – сказал наконец Гессрейтер, – и был бы вам признателен, если б вы пока молчали о том, что покупка сделана через меня.

Предупредительность, с которой г-н Новодный выразил согласие, за сто километров позволяла заметить как его недоверие, так и готовность молчать. Попрощавшись, г-н Гессрейтер, раздосадованный, браня себя за трусость и в то же время довольный своей смелостью, поехал во Дворец юстиции и уселся на свое место присяжного, лицом к председателю суда ландсгерихтсдиректору Гартлю и обвиняемому Крюгеру, рядом со своими коллегами – поставщиком двора Дирмозером, учителем гимназии Фейхтингером, антикваром Лехнером, страховым агентом фон Дельмайером и почтальоном Кортези.



## 6. Дом девяносто четыре по Катариненштрассе дает показания

Председательствующий доктор Гартль перешел к допросу лиц, проживавших в одном доме с покойной девицей Анной Элизабет Гайдер. Фрейлейн Гайдер снимала квартиру-ателье в доме девяносто четыре по Катариненштрассе. Дом девяносто четыре был простым доходным домом. В нем проживали мелкие коммерсанты, чиновники, ремесленники. Фрейлейн Гайдер не была самостоятельной съемщицей, а лишь жилицей у некоей надворной советницы Берадт, сын которой, художник, пропал без вести во время войны. Отзывы г-жи Берадт о покойной девице Гайдер звучали довольно кисло. Между ней и фрейлейн Гайдер вскоре возникли недо-разумения. Фрейлейн Гайдер была неряшлива и нечистоплотна, возвращалась домой в неопре-деленное время, несмотря на строгое запрещение, готовила в мастерской пищу и питье спосо-бом, угрожавшим пожаром, платила неаккуратно, принимала у себя подозрительных, шумных гостей, не соблюдала никакого порядка. Когда началась связь с обвиняемым Крюгером, г-жа Берадт, – резким голосом подчеркнула она, – немедленно предложила своей жилице выехать. Но тогдашние законы, к сожалению, защищали права жильцов. Началось длительное разбира-тельство в квартирно-конфликтном бюро, и надворной советнице так и не удалось избавиться от неприятной жилицы. Г-н Крюгер вначале бывал очень часто, почти ежедневно, и как она, так и весь дом были возмущены неприличными отношениями между этим господином и фрейлейн Гайдер. «Из чего, – спросил защитник Гейер, – надворная советница могла заключить, что эти отношения являются чем-либо большим, чем простая дружба?» Г-жа Берадт, покраснев и несколько раз откашлявшись, объяснила, что г-н Крюгер и фрейлейн фамильярно и прямо-таки интимно пересмеивались. Кроме того, г-н Крюгер на лестнице неоднократно прикасался к руке, к плечу, к затылку фрейлейн, что обычно не принято между людьми, не находящимися в близких отношениях. Далее: из мастерской доносился визгливый смех, короткие, словно от щекотки, вскрикивания, шепот, одним словом – всякие неприличные звуки. «Расположена ли мастерская так, что соседям все слышно?» Между ее помещением и мастерской, – объяснила г-жа Берадт, – правда, находится еще одна комната, но, при напряженном внимании и таком хорошем слухе, как у нее, ночью приходилось слышать все эти звуки. «Приходилось или можно было услышать?» – снова поинтересовался Гейер, слегка покраснев, с трудом сдерживаясь и болезненно щурясь из-за очков. При этом вопросе легкомысленный с виду присяжный фон Дельмайер засмеялся, но сразу затих, встретив укоризненный взгляд своего соседа, почтальона Кортези, и тупо недоумевающий – учителя гимназии Фейхтингера.

Был ли г-н Крюгер у ее жилицы в ту ночь, которая интересует суд, надворная советница после такого длительного промежутка времени сказать не бралась. Во всяком случае, она не раз видела, а иногда и слышала, что этот господин приходил и уходил из мастерской в самое неподобающее время.

Таковы же приблизительно были показания и других свидетелей. О фрейлейн Гайдер много говорили. Фрейлейн была странной особой, плохо и неряшливо одетой. «Поэтому-то она и нарисовала себя голой», – сострил какой-то журналист. Глаза у нее бывали иногда такие, что даже страшно становилось. С ней никак нельзя было разговориться. Многочисленные ребя-тишки в доме любили ее. Несмотря на то что ей жилось очень плохо, она дарила им фрукты, конфеты. Но в общем она не пользовалась симпатиями, особенно с тех пор, как однажды при-несла с собой облезлую, бездомную кошку, заразившую затем другую кошку в доме паршой. Все были убеждены, что фрейлейн Гайдер состояла в интимных отношениях с доктором Крю-гером. Кислые, высохшие или обрызгшие обывательницы, населявшие дом, больше всего воз-мущались тем, что девица Гайдер даже и не пыталась скрыть этих отношений.

Присяжный Фейхтингер, учитель гимназии, сквозь очки в стальной оправе внимательно и недоумевающе глядел своими бесцветными глазами на свидетелей. Он добросовестно пытался следить за их показаниями, но, будучи тяжелодумом, никак не мог уловить, к чему, собственно, ведут эти вопросы и ответы. Все это шло слишком быстрым темпом, такой метод казался ему чересчур по-современному поспешным. Он грыз ногти, мысленно машинально исправляя построение какой-нибудь фразы, своими бесцветными глазами глядел в рот многочисленным свидетелям. Присяжный Кортези, по профессии почтальон, думал о том, сколько именно семейств проживало в доме девяносто четыре по Катариненштрассе. Он с виду был совсем небольшим, этот дом, и все же в нем жило так много людей. Кто, собственно, из его коллег теперь обслуживал нижний конец Катариненштрассе? Он вспомнил, что однажды случилась неприятная история с доставкой почты в этот дом: пакет был сдан дочке адресата, но не был передан затем по назначению, и почтальон, конечно, имел неприятности.

Присяжный Каэтан Лехнер вел себя очень беспокойно, ежеминутно поглаживал низко заросшие бачки, вытаскивал пестрый платок, сморкался, вздыхал. Не только из-за жары: вся эта история волновала его. С одной стороны, он, как добропорядочный гражданин, склонен был отправить Крюгера в тюрьму, ибо право и порядок должны быть незыблемы. С другой же стороны, он понимал этого «чужака», испытывая даже сострадание к нему. Его собственное дело тесно соприкасалось с областью искусства; он умел так реставрировать попорченную драгоценную старинную мебель, что знатоки приходили в восторг, часто имел дело с «чужаками», имел возможность знакомиться с их жизнью. Да, кроме того, у его дочери Анни было знакомство, связь, так называемый роман, с человеком, которого он волей-неволей принужден был считать «чужаком». Он ругался по этому поводу с Анни изо дня в день, иногда даже весьма грубо, но, в сущности, был терпелив. У него, Каэтана Лехнера, был свой жизненный опыт. Часто во время ярмарки, бродя по лавкам старьевщиков, он находил мебель, на вид так хорошо сохранившуюся, словно она могла простоять еще двадцать-тридцать лет. Но при тщательном исследовании она оказывалась источенной червями, и было просто чудом или обманом то, что она не разваливается. Жизнь, знаете, сложная штука, даже и для такого умника, как этот доктор Крюгер, особенно если человек по самой природе своей «чужак». Присяжный Лехнер своими водянисто-голубыми глазами глядел на обвиняемого, разглаживал бачки, фыркал носом, сморкался в пестрый платок, вздыхал.

Присяжный Пауль Гессрейтер с непонятным ему самому страстным интересом следил за рассказом о покойной. Его пухлый рот был полуоткрыт, отчего лицо казалось несколько глуповатым.

Сидевший рядом с ним придворный поставщик Дирмозер изредка косился на него. Для Дирмозера эти дурацкие обязанности присяжного были просто выполнением надоедливой формальности, от которой он охотно увильнул бы. Но он опасался, что это может повредить его доброму имени, как общественному, так и деловому, – ну, так, как если бы он, например, не явился на похороны какого-нибудь своего крупного клиента. Он страдал от жары, его мысли отвлекались в сторону. К счастью, у него для всех подобных случаев было про запас официальное заученно-внимательное выражение, которое он без труда мог долго сохранять на лице. Крайне неприятно, что старшая продавщица филиала его перчаточного магазина на Терезиенштрассе заболела. Эта дура, наверно, снова обожралась мороженым. Теперь его жене одной придется возиться с управлением обоими магазинами. Это было особенно некстати, так как двухлетний Пеппи снова прихворнул, а на новую служанку нельзя было положиться. Размышляя об этом, он машинально приглядывался к нитяным перчаткам одной из свидетельниц. Они были баденского происхождения. Ему следовало потребовать от этой фабрики более продолжительного кредита.

С уверенностью жильцы дома девяносто четыре по Катариненштрассе утверждали лишь то, что доктор Крюгер несколько раз бывал в мастерской по ночам. Но когда именно, один или вместе с другими, – этого никто из свидетелей категорически утверждать не решался.

Обвиняемый Крюгер поддерживал свои первоначальные показания. Он охотно и часто проводил время с Анной Элизабет Гайдер, часто бывал у нее, а нередко и она бывала у него. В ту ночь, о которой идет речь, он проводил ее с вечеринки до дому, но затем в том же автомобиле поехал дальше. Половых отношений между ними никогда не было. Его показания на процессе, возбужденном в свое время по служебной линии против покойницы, были правдивы от начала и до конца. Он и сейчас от них не отказывается.

Обвиняемый казался сегодня, несмотря на продолжительность следствия, свежим и полным энергии. Его крупное лицо, с сильными челюстями, мясистым носом и смелым изгибом рта, несколько побледнело, но он с неослабным вниманием следил за всеми подробностями процесса, и ему явно стоило труда, подчиняясь указаниям защитника, сохранять спокойствие и не вмешиваться резко в прения. Обывательниц из дома девяносто четыре его живые глаза провожали взглядом, полным презрительного равнодушия. Однажды только, во время показаний надворной советницы Берадт, он чуть не вскочил и повернулся к ней с таким выражением гнева, что нервная дама, слегка вскрикнув, даже отступила назад.

Кто знает, если б Мартин Крюгер в свое время с такой же горячностью выступил против придирок надворной советницы к ныне покойной девушке, вместо того презрительного равнодушия, которое он тогда проявил, все, быть может, кончилось бы более благополучно. Но верно было одно: хотя резкий жест обвиняемого и навлек на него мягкое замечание председателя, зато присутствующие женщины перестали глядеть на него с той острой враждебностью, которой до тех пор они платили за его холодно-равнодушное высокомерие.

## 7. Человек в камере сто тридцать четыре

Вечером того же дня Крюгер сидел один в своей камере. Камера сто тридцать четыре была небольшого размера, с голыми стенами, но не давала повода к особым жалобам. Было без восьми минут девять. В девять часов потухнет свет, а мысли, когда потухнет свет, становятся более мрачными и гнетущими.

В первые дни после своего ареста Мартин Крюгер оказывал отчаянное сопротивление. Он вопил, его крупное лицо превращалось в какой-то сплошной беснующийся рот под безумными глазами. Сжав в кулаки волосатые руки, он изо всех сил барабанил в двери своей камеры.

Адвокат доктор Гейер, когда его холодная сдержанность несколько успокоила беснующегося, заметил, что ему лично непонятны такие приступы ярости. Он сам, Гейер, прошел тяжелую школу и привык владеть собой. Это нелегко для такого человека, как он, измерившего всю степень несправедливости и лицемерия, процветавших в этой стране. То, что продельвается с Крюгером, продельвается с тысячами других, худшие вещи продельваются с тысячами других, и крики – не средство, могущее что-либо в этом изменить. И в то время как Гейер своим резким, нервным голосом словно хлестал сидевшего перед ним в тупом молчании человека, сердито глядя на него голубыми, скрытыми за толстыми стеклами очков глазами, Крюгер успел снова овладеть собой. Да, просто поразительно было, как безропотно этот избалованный человек отныне переносил все тяготы заключения. Привыкший к всевозможным удобствам, к определенной температуре ванны, выходивший из равновесия из-за малейшего нарушения внешнего вида своей квартиры, он теперь без жалоб сносил убогую жизнь в камере.

Оставаясь один, Мартин Крюгер непосредственно от насмешливого сознания своего превосходства, побуждавшего его относиться к своему тюремному заключению как к короткому неприятному эпизоду, нередко переходил к внезапным приступам бешенства, а затем к полной депрессии. В течение первых двух дней процесса он держался спокойно только благодаря уверенности, что всю эту историю нельзя принимать всерьез. Не посмеют ведь такого человека, как он, занимающего одно из виднейших мест среди германских искусствоведов, осудить на основании таких нелепых показаний! Он был родом из Бадена и не умел по достоинству оценить тупое, липкое упорство, с которым жители Баварской возвышенности способны доконать ненавистного им человека. Он не мог себе представить, что старательный прокурор из грязной болтовни обывательниц сделает конкретные юридические выводы и что почтенный поставщик двора Дирмозер и работника-почтальон Кортези из этого нечистоплотного вздора возведут для него тюремные стены.

И лишь сегодня, во время допроса надворной советницы Берадт, когда такая гнусная окраска была придана делу покойной Анны Элизабет Гайдер, он внезапно с ужасающей ясностью понял всю опасность своего положения среди этих баварцев. Лишь сегодня ему стала понятна и напряженная серьезность доктора Гейера. Правда, и раньше Мартин Крюгер силой своего воображения рисовал себе картины своего мученичества: отказ от приятных привычек, от разумной деятельности, от искусства, от бесед с утонченно-интеллигентными людьми, отказ от женщин, от изысканно составленных меню, от утренней приятной ванны. Он рисовал себе все это, сентиментально наслаждаясь контрастами. Там, на воле, – июнь; уже можно растянуться на залитом солнцем песке на берегу моря; на лодках идет флирт; люди мчатся по белым, светлым дорогам в запыленных машинах, сидят перед горным сторожевым шалашом, пьют вино; кругом – вершины гор... А его жизнь между тем вот какова: голые серые стены, под ногами лишь несколько жалких квадратных метров для ходьбы, утром – бурая жидкость в жестяной кружке, весь день – необходимость подчиняться приказаниям хмурых, дурно пахнущих надзирателей; получасовая прогулка во дворе, затем снова голые серые стены до девяти часов, а там тушится свет. И так целый год напролет, и еще – пятьдесят две недели, а может

быть, и еще триста шестьдесят пять нескончаемых дней. Но всегда, даже во время приступов бешенства, эти представления оставались игрой. И когда в это утро они впервые встали перед ним с непреодолимой реальностью, вся сила покинула его члены, горло пересохло, отвратительное чувство пустоты поползло от желудка вверх.

Оставалось еще четыре с половиной минуты до того, как погаснет свет. Он испытывал страх перед наступлением этого момента. Он сидел на опущенной койке, одетый в ночной костюм, вокруг него стояли стол, стул, кружка с водой, эмалированная миска для еды, белая кадка для удовлетворения естественных потребностей. Сейчас, когда он сидел, опустив руки на колени, со слегка отвисшей нижней челюстью, в нем уже не было ничего угрожающего.

Эту девушку, Анну Элизабет Гайдер, он уже больше не видел после того, как она таким отвратительным способом убила себя. Он в то время уехал в Испанию, чтобы закончить свою книгу об испанской живописи, и, собственно, был рад, что ему не пришлось встречаться с нею в последнее, трудное для нее время. Было странно, что человек может покончить с собой, ему это было непонятно, и он не пожелал вникать в это дело. Сейчас, четвертого июня, за три минуты до того, как погаснет свет, сейчас уже нельзя было отмахнуться от мыслей об этом деле. Образ покойной Анны Элизабет Гайдер не уходил из камеры сто тридцать четыре, хотя свет еще горел и хотя Крюгер отлично знал, что мысли нужны ему для более важного: для обдумывания способов защиты от предъявленного ему безмерно нелепого судебного обвинения.

Мартин Крюгер в своих показаниях на суде не лгал. В тот вечер он действительно не заходил в комнату Гайдер и действительно никогда не был физически близок с ней. Собственно говоря, было чистой случайностью, что он не сошелся с ней, как сходилась с другими женщинами. Сначала это не произошло в силу каких-то чисто внешних причин. Потом она написала тот портрет, и у него, он сам не знал почему, пропало всякое влечение к ней. Портрет был чересчур ощутим, – объяснил он доктору Гейеру.

Он видел ее сейчас перед собой, видел, как она вприпрыжку спускалась по лестнице. Ее прыгающая походка вообще не вязалась со всей ее женственной фигурой. Лицо – широкое и круглое, собственно говоря, лицо крестьянской девушки, обрамленное густыми белокурыми, далеко не безукоризненно причесанными волосами, широко открытые серые глаза со смущающим выражением углубленности и рассеянности. Вообще же довольно наивное лицо. Нелегко бывало иметь с ней дело. Она была невероятно дика, совершенно равнодушна ко всему внешнему, пока это внешнее не хватало ее за горло, небрежно, компрометирующе неряшливо одета. К тому же на нее периодически находили приступы чувственности, тяготившие его своей необузданностью. Но его безупречное художественное чутье, несмотря на все эти почти невыносимые для него свойства, влекло его к ней, притягиваемое ее неуверенной, идущей словно ощупью, но всегда безошибочно верной целеустремленностью в области искусства. Он причислял эту чувственную, нескладную женщину, вполне подходившую под понятие, вкладываемое мюнхенцами в термин «чужачка», и влачившую жалкое существование с помощью плохо и нерегулярно оплачиваемых уроков в мюнхенской рисовальной школе, – к немногим настоящим художникам современной эпохи. Она творила с трудом, с колебаниями и срывами; снова и снова уничтожала написанное. Ее цели и методы были труднодоступны постороннему. Но он чувствовал в ее произведениях бесспорное, неповторимое, настоящее дарование. Возможно, что именно эта ее принадлежность к настоящему искусству создавала какой-то тормоз, мешала ему, не раздумывая, сойтись с ней, как он сходилась с другими женщинами. Она страдала от этого и, ввиду проявляемой им непонятной пассивности, как-то без разбора шла на случайные связи, пока наконец пропуск уроков, а прежде всего, конечно, приобретение государственным музеем ее картины, не заставили школьное начальство возбудить против нее дисциплинарное дело, во время которого он и принес ту злополучную и к тому же оказавшуюся излишней присягу.

Ибо, как и должен был предвидеть всякий живущий в этой стране, ее, несмотря на его благоприятные показания, разумеется, уволили. Он уехал в Испанию, не дождавшись окончания дела, не попытавшись предотвратить последствия, которые при большем практическом знании людей он должен был бы предвидеть. Было, в конце концов, понятно, что, раз вырвавшись на короткое время из обычной служебной обстановки, он желал иметь покой, хотел посвятить себя целиком работе над своей книгой и не велел высылать ему вслед получаемые на его имя письма. Но понятно было и то, что, написав ему напрасно несколько раз и не умея найти выход из создавшегося положения, она отравилась светильным газом. Когда он вернулся, она была уже мертва, обратилась в прах. Надворная советница Берадт, с которой ему пришлось иметь пренеприятную встречу по поводу художественного наследия и бумаг покойной, вела себя крайне враждебно. Из родных Гайдер оставалась лишь сестра, державшаяся совершенно безучастно. Все письма и записи покойной были опечатаны судебными органами. Оставалось только несколько рисунков. Свои картины покойная, по-видимому, уничтожила. Один из сторожей государственного музея рассказал, что фрейлейн Гайдер еще накануне дня своей смерти была в галерее у своего портрета. Своим возбужденным видом она обратила на себя его внимание, и в конце концов, когда, под впечатлением ее нелепого поведения, он попытался завязать с ней беседу, она без всякого, собственно, повода дала ему две марки на чай. К этому г-жа Берадт отнеслась особенно неодобрительно. Ведь после покойной оставались еще неоплаченные долги. Покойница была должна за квартиру, кроме того, многие вещи в ее помещении оказались попорченными, так что предстояли расходы на ремонт, не говоря уже о большом счете за газ, вызванном ее самоубийством.

Оставалось еще полминуты до девяти. Доктору Крюгеру не удавалось ясно воспроизвести перед своими глазами образ молодой женщины. Он почти со страхом пытался представить себе, как она, в небрежной позе сидя в уголке дивана, курила, как без зонтика, под проливным дождем, с напряженным выражением лица, чересчур мелкими шажками пробиралась по улице или как она, танцуя, безвольно и в то же время тяжело лежала в объятиях своего кавалера. Но на первый план все время выступал портрет, и не оставалось ничего, кроме портрета.

Свет погас. Воздух в камере был удушлив, руки горели, одеяло неприятно царапало. Заключенный выше подтянул воротник ночной куртки, ниже стянул штаны. Дышал тяжело. Закрыв глаза, увидел пестрые вращающиеся точки; лежал, окруженный давящей тьмой.

Он был слишком мягок, недостаточно энергичен – в этом крылась причина всех зол. Он распустился, не выполнял долга, который возлагали на него его способности. Ему все давалось слишком легко – вот в чем было дело. Он редко испытывал недостаток в деньгах, обладал хорошей внешностью, женщины баловали его, его литературный стиль легко и удачно приспособлялся к вопросам искусства, которые он стремился осветить. Своих более резких и менее удобных взглядов он не высказывал. В его книгах не было ни одного слова, которого он с чистой совестью не мог бы отстаивать, но в них не было и многого такого, что неохотно стали бы слушать, о чем заявлять было бы неудобно. Были истины, о которых он догадывался и которые тщательно обходил перед самим собой, а тем более перед другими. У него был только один настоящий друг, Каспар Прекль, инженер «Баварских автомобильных заводов», немного мрачный, небрежно одевавшийся человек, с явными склонностями к политике и к искусству, человек неукротимой воли, фанатик. Каспар Прекль часто упрекал Мартина в лени, и случалось, что под настойчивым взглядом молодого инженера, все же очень к нему привязанного, Мартин Крюгер самому себе начинал казаться каким-то шарлатаном.

Но разве он все же не высказал своих взглядов? Не отстаивал открыто своего мнения? Ведь если он сидел здесь, то разве не за то, что отстаивал свое мнение, отстаивал картины, которые считал значительными?

Все это так. Но как все-таки произошла эта история с «Иосифом и его братьями»? Путаная это была история, и вначале он держался должным образом. Ему прислали снимок с кар-



тины, окружили все это дело таинственностью. Художник, говорили, болен, нелюдим, с ним трудно иметь дело. Снимок сделан без его ведома, несомненно против его желания. Художник, охваченный болезненным чувством бессилия и считающий всякого рода деятельность в области искусства в настоящее время бессмысленной, служит где-то мелким чиновником. Возлагаются большие надежды на вмешательство Крюгера, труды которого художнику известны.

Он, Мартин Крюгер, увлеченный картиной, горячо взялся за дело. Художника, правда, ему повидать не удалось. Но приобретение картины он гарантировал. Риска серьезно повредить своему положению, он поставил министра перед дилеммой: уволить его, Крюгера, или приобрести картину. Когда ему с торжеством указали на чрезмерно высокую цену, он с трудом уговорил, как ни противно ему это было, автомобильного фабриканта Рейндля выложить крупную сумму. До сих пор его роль была вполне достойной. Ну а после? На этом «после» он старался не останавливаться, отделяясь от него довольно туманными доводами. Сейчас в камере сто тридцать четыре он, стиснув зубы, восстанавливал перед собой все как было, обливаясь потом и задыхаясь, заставлял себя не закрывать глаза перед фактами.

А было на самом деле вот что: когда картина оказалась в музее, он как-то сразу остыл к ней. В то время как он даже для средних испанских художников далекого прошлого находил яркие выражения похвалы, он как-то не мог подыскать подходящих слов для картины «Иосиф и его братья». Он удовлетворился общими местами. Его обязанностью было этим произведением, увлекшим его, увлечь и других, сызнова создать его в слове, сделать его видимым. Но сосредоточиться было трудно, это стоило нервов, он был слишком ленив. Самое же худшее произошло потом, когда к власти пришел министр Флаухер. Этот мрачный идиот сосредоточил все свои силы на том, чтобы убрать из музея картину «Иосиф и его братья». Ему, Крюгеру, любезно предложили взять длительный отпуск. Отпуск был приятен, так как давал ему возможность хорошенько поработать над книгой об испанской живописи. Когда он вернулся, картины «Иосиф и его братья» уже не было: она была заменена какими-то добросовестно выполненными произведениями, несомненно прекрасно дополнявшими весь комплект. Он знал, что так именно будет, до того как уехал в отпуск. Хотя об этом не было сказано ни слова, все же он знал, что идет на откровенную сделку: отпуск ему давали за пассивное согласие на предательство по отношению к художнику Ландгольцеру и его произведению.

Безжалостно говоря себе это теперь в камере сто тридцать четыре, Крюгер метался на своей койке и сопел. Да, многое, что следовало сделать, не было им сделано. Но ведь он же был не господом богом, а только человеком, у которого две руки, одно сердце и один мозг. Достаточно было сделать кое-что из того, что следовало сделать. «Кое-что, – проворчал он себе под нос. – Кое-что, не все...» Но и звук слов не отгонял уверенности в их лживости. Образ его молодого друга Каспара Прекля встал перед ним. Вспомнилось небритое, худое лицо с живыми глазами и резко выступающими скулами. Он почувствовал себя беспомощным, перевернулся на другой бок.

Да, но какое же, черт возьми, отношение могла иметь картина «Иосиф и его братья» к его проклятому невезению? Должно быть, он отчаянно изнервничался, если задумывался над такими мифическими понятиями, как «вина», «искупление», «провидение». Разве другой на его месте мог бы сделать больше? Нет, другой, может быть, и не мог бы, но он сам мог сделать больше. Он мог пойти дальше, исчерпать свои силы до предела. Он был дурным человеком, ленивым человеком. Он не дошел до своего предела. Кто не доходит до своего предела, тот ленивый человек.

Шаги тюремной стражи равномерно приближались по коридору к его дверям. Девять шагов можно было расслышать совсем четко, затем еще девять – глуше, и, наконец, шаги замирали.

Да, он был ленивый человек, дурной человек, недаром привлеченный к суду, хотя придворный поставщик Дирмозер и антиквар Лехнер и не подозревали о его настоящей вине. Ведь

он, Крюгер, твердо знал, как обстоит дело с картиной «Иосиф и его братья». Эта картина, весьма вероятно, не была произведением вполне законченным, полноценным. Но ему представился случай выдвинуть художника, какие рождаются, быть может, раз в поколение, он этот случай оценил и ради своего покоя упустил.

Однажды он полушутя – чего только не делал он полушутя! – попытался выстроить по определенной шкале все, что было ему дорого в жизни. Да, однажды в дождливый день, гуляя с Иоганной в мирном парке замка в баварском предгорье, он попытался объяснить ей эту шкалу. Подстриженный парк королевского замка был наполнен изображениями мифологических фигур во вкусе Версаля. Он сел верхом на одного из деревянных зверей. Сезон уже кончился, вечерело, и они были единственными посетителями на всем острове. И так, сидя на деревянной спине мифологического зверя, он набросал перед ней эту шкалу жизненных ценностей. Первое место, считая снизу, занимали комфорт, удобства жизни, затем чуть выше – путешествия, созерцание многообразия мира. Далее, еще одной ступенью выше – женщины, все радости утонченных наслаждений. Еще ступенью выше – успех. Да, успех – это хорошо, это вкусно! Но все эти вещи составляли лишь низшие ступени. Надо всем этим возвышались друг Каспар Прекль и она, Иоганна Крайн. Но все-таки, если говорить совершенно откровенно, и это было еще не самое высшее. На самом верху, выше всего, стояла его работа.

Иоганна слушала задумчиво, стоя внизу под мелким дождем. Но, раньше чем она успела ответить, подошел сторож в сопровождении большой собаки и грозно спросил, что это он делает, взобравшись на произведение искусства. Ездить верхом на произведениях искусства строго воспрещается. И Крюгер слез с деревянной мифологии. У него оказалось при себе удостоверение личности. Сторож вытянулся, сложив руки по швам, перед руководителем государственного музея и почтительно слушал, как ему объясняли, что для всестороннего изучения произведений искусства такого рода необходимо ездить на них верхом.

Да, удивительно, как это Иоганна Крайн вот уже четвертый год выдерживает с ним. Он видел ее сейчас перед собой – ее широкое лицо с туго натянутой кожей, каштановые, упрямо, вопреки моде заколотые узлом волосы, темные брови над большими, серыми, неосторожными глазами. Удивительно, как это она так долго могла терпеть его среди окружавшей ее атмосферы ясности. Не нужно было быть сильной, прямолинейной Иоганной Крайн, чтобы уж из одного его поведения в деле с картиной «Иосиф и его братья» понять, каким бесцветным и ленивым может быть его образ действий на практике. Да, таков он и был: с неимоверным увлечением набрасываясь на какое-нибудь дело, он отступал, вялый и готовый на компромиссы, как только оказывалось необходимым обнаружить длительную выдержку и готовность стоять на своем.

Неожиданно его охватило горячее желание увидеть Иоганну. В зале суда он среди многих лиц искал глазами ее энергичное, широкое лицо. Напрасно. Вероятно, этот отвратительный доктор Гейер по каким-то своим крючкотворным юридическим соображениям не позволил ей присутствовать. Между тем ведь она вовсе не должна была давать показания. Он не хочет, чтобы она давала показания. Он уже два или три раза говорил об этом своему защитнику. Он не хочет, чтобы Иоганна оказалась впутанной в эту грязную историю, из которой нельзя выйти незапачканным.

Но человек в камере сто тридцать четыре не мог помешать своей яркой фантазии рисовать картину того, как Иоганна Крайн своим спокойным голосом будет давать показания в его пользу. Было бы чертовски горьким разочарованием, если бы доктор Гейер действительно послушался его и отказался от выступления Иоганны. Это будет прямо изумительно, если Иоганна выскажет всем этим болванам свой взгляд на дело. Если рассыплются в прах все обвинения, выдвинутые в этом нелепом процессе. Если всем им тогда придется извиняться перед ним и первому – министру Флаухеру, этому тупице с четырехугольным черепом. О, он, Крюгер, не будет разыгрывать по этому поводу эффектных сцен. Без всякого пафоса, с усмешкой, почти сердечно пожмет он покаянную руку старому ослу, довольствуясь тем, что отныне

им волей-неволей придется предоставить ему больше свободы в исполнении своих служебных обязанностей.

Во всяком случае ужасно обидно, что ему все эти дни не удастся повидаться с Иоганной. Этот несносный оппортунист, всегда осторожный Гейер полагает, что эффект от показаний Иоганны значительно ослабее, если выяснится, что она в эти дни много времени проводила с Крюгером. А то, какую моральную поддержку оказало бы ему, Крюгеру, общество Иоганны, его, конечно, нисколько не интересовало. Почти с ненавистью вспоминал Крюгер светлые проныцательные глаза защитника за толстыми стеклами очков.

И все-таки тот факт, что Иоганна так долго и тесно связана с ним, поднимал его веру в себя. Да, однажды он сдал. Но теперь он взял себя в руки и выберется на прямую дорогу. Только бы разделаться с этой гнусной историей! Тогда, будь она хоть в глубине Сибири, он разыщет картину «Иосиф и его братья» и, что еще важнее, раскопает художника Ландгольца. Будет искать настойчиво, фанатически, вместе с молодым другом своим Каспаром Преклем. С прежней проклятой мягкотелостью он, во всяком случае, разделается раз и навсегда.

Снова шаги надзирателя. Девять шагов громко, девять – тише, и опять его больше не слышно. Но под влиянием таких мыслей одеяло уже не так царапало, да и на левый бок он улегся, не боясь за сердце. Естественная усталость одержала верх над нервным возбуждением, вызванным ночной тишиной и тюремным одиночеством. Он заснул с легкой довольной улыбкой на устах.

## 8. Адвокат доктор Гейер предостерегает

Адвокат доктор Зигберт Гейер приказал своей экономке и в свободный от судебного заседания воскресный день разбудить его ровно в восемь. Каждый час и этого воскресного дня распределен заранее. Он должен принять свидетельницу Иоганну Крайн, должен в «Тиролер вейнштубе», являющейся в воскресные предобеденные часы чем-то вроде нейтрального клуба для политических деятелей этой маленькой страны, постараться удержать своих не слишком ловких товарищей по партии от чрезмерных глупостей. Но прежде всего он должен поработать над своей рукописью «История беззаконий в Баварии от заключения перемирия 1918 года до наших дней». Он не должен нарушать цельности произведения, допуская перерывы в работе.

Как только хриплый, плаксивый голос экономки Агнесы разбудил его, он, напряжением всей своей воли преодолевая сопротивление непослушных членов, заставил себя вскочить с постели. В ванне затем он позволил себе дать волю мыслям, нарушил на мгновение дисциплину неумолимой логики, к которой приучил себя.

Разве знал кто-нибудь об усилиях, необходимых для того, чтобы каждый день сызнова заводить, питать и напрягать его прославленную выдержку и четкую энергию? Разве не был он в основе своей созерцателем, непригодным для такой лихорадочной деятельности? Чудесно было бы поселиться за городом, освободиться от профессиональной политической деятельности, ограничиться литературной работой по теоретическим вопросам политики.

Найдет ли он в себе достаточно спокойствия сегодня, чтобы продолжать работу над «Историей беззаконий»? Дьявольски трудно оторвать мысли от Крюгера, от самого себя. Если он хочет действительно закончить книгу, нужно когда-нибудь оторваться от дел и хоть на два месяца укрыться в спокойной обстановке.

Увы! Он знал, чем окончилась бы подобная попытка. Покачиваясь в теплой воде, он вспоминал о прежних попытках уйти от окружающей утомительной сутолоки, и насмешливая улыбка играла на его тонких губах. После двух недель сельской тишины он всегда начинал тосковать по письмам, газетам, по деловым совещаниям. Тосковал по той минуте, когда снова, в зале суда или стоя на трибуне ландтага, увидит глаза, прикованные к его устам. Как ни твердо знал он, что все эти эффекты – лишь пустой, незначущий блеск, все же он не умел отказаться от них.

Адвокат доктор Гейер покачивался в светлой зеленоватой воде. Он думал о книге «Право, политика, история», большой книге, которую он когда-нибудь соберется написать. Он любовно вспоминал некоторые найденные им, казавшиеся ему удачными, формулировки; закрывал глаза, улыбался. Со студенческой скамьи думал он над этими вопросами. Он знал: «Право, политика, история» – это будет хорошая книга, в ней будет сказано больше значительного, чем он когда-либо сможет сказать на суде или в парламенте. Она окажет влияние на людей большего калибра, чем судьи и депутаты, и, кто знает, быть может, когда-нибудь она дойдет и до такого человека, который его мысли претворит в действие. Он собрал много материалов, отсеял их, привел в порядок. Перебирал их из года в год, менял основной план, расположение. Откладывал со дня на день главную работу, требовавшую напряжения всех сил; принялся наконец за меньшую книгу – «История беззаконий в Баварии», успокаивая свою совесть тем, что это подготовительная работа к тому, большому произведению. Но в тайниках души, – не теперь, в ванне, а в спокойные минуты размышлений, – он сознавал, что никогда не напишет той книги, что всю жизнь он будет метаться между политическими вопросами дня и адвокатской суетней, великую задачу разменивая на ничтожную деловитость.

Адвокат доктор Зигберт Гейер потерял тонкую, удивительно белую кожу холодной резиновой губкой, насухо вытерся. В глазах снова загорелся обычный острый, настойчивый блеск.

Ненужное теоретизирование! Переливание из пустого в порожнее! Ерунда! Вредно так долго сидеть в теплой воде. Нужно собраться с мыслями, заняться обвиняемым Крюгером.

Сангвинический, недисциплинированный характер Крюгера был ему противен. Но, как ни неприятен был ему именно этот объект судебного произвола, как ни безнадежна была защита права перед государственной властью, права не уважавшей, все же радостно было открыто высказать свое мнение, использовать этот отдельный случай, ярко осветить его.

Он торопливо позавтракал, рассеянно засовывая в рот большие куски, быстро прожевывая их. Экономка Агнеса, костлявая, с желтым лицом, ходила взад и вперед, сердито требуя, чтобы он ел медленно, а то и еда, мол, не пойдет ему впрок. И, кроме того, он, конечно, снова надел старый, совсем невозможный костюм: нового, нарочно приготовленного ею, он и не заметил. Гейер сидел в некрасивой, неловкой позе, не слушая ее, жевал пищу, пачкал свое платье, просматривал газетные отчеты, отмеченные и присланные ему управляющим его личной канцелярией. Его глаза снова глядели так же быстро, трезво, пронизательно, как в зале суда. Во многих газетах был помещен его портрет. Он всматривался в этот портрет: тонкий с горбинкой нос, острые выдающиеся скулы, напряженно выдвинутый вперед подбородок. Не было никаких сомнений – он нынче, бесспорно, один из лучших адвокатов Баварии. Ему следовало давно уехать из этого ленивого города, переселиться в Берлин. Никто не понимал, как он мог довольствоваться деятельностью депутата в парламенте этой провинции и не участвовать в широкой политике. Должно быть, он действительно увлекся борьбой с маленьким князьком-диктатором Кленком, своими обманчивыми успехами в этой незначительной провинции.

Переворачивая новый газетный лист, доктор Гейер внезапно так же резко и болезненно вздрогнул, как в зале суда при смутившем его неприличном смехе присяжного Дельмайера. Газета, которую он держал в руках, была берлинской дневной газетой. Зарисовщик метко и дерзко набросал портреты присяжных на процессе Крюгера. Лица, олицетворявшие безнадежную посредственность. Неумолимо и убедительно было схвачено выражение беспросветной тупости. На первом плане, заслоняя два других лица, выступало лицо страхового агента фон Дельмайера, это наглое, легкомысленное лицо, которое адвокату отныне придется часами лицезреть каждый день. Оно снова лишало его с таким трудом завоеванного спокойствия. Ведь там, где был Дельмайер, там поблизости должен был находиться и Эрих. Эти люди, ненадежные во всем остальном, проявляли постоянство только в своей неразлучной дружбе. Эрих! Все, относящееся к комплексу «Эрих», адвокат давно обдумал, уяснил себе, выразил словами. С этим было покончено. Раз и навсегда. И все же он знал: если мальчик когда-нибудь сам лично придет к нему, – а когда-нибудь он придет и будет говорить с ним, – в эту минуту все опять окажется невыясненным и совсем не поконченным. Он держал в одной руке газету, другая рука, подносящая ко рту недоеденную булочку, так и застыла на полдороге. Неподвижным взглядом уставился он на рисунок, на штрихи, сплетавшиеся в изображении наглого, насмешливого, легкомысленного лица присяжного Дельмайера. Наконец резким усилием воли он отвел глаза от газеты, приказал себе больше не думать о Дельмайере и уж ни в коем случае не думать о друге и приятеле Дельмайера, об Эрихе, о мальчике, о своем сыне.

В то время как он еще доедал свой завтрак, явилась Иоганна Крайн. Когда она на своих быстрых, крепких ногах, в кремовом костюме, плотно облегавшем ее стройное, тренированное спортом тело, вошла в комнату, адвоката поразило сходство с той, о которой он не хотел вспоминать. Как всегда, когда он видел Иоганну, перед ним встал вопрос о том, что могло связать эту сильную, решительную девушку с вечно изменчивым Крюгером.

Иоганна попросила разрешения открыть окно. Июньский день ворвался в затхлую, неуютную комнату. Она уселась на одном из расставленных как попало узких, с прямой спинкой стульев. Доктор Гейер, обычно не поддававшийся таким настроениям, вдруг в тысячную долю секунды подумал, что, собственно, кому-нибудь следовало позаботиться о том, чтобы обставить его квартиру более светлыми вещами.

Иоганна, не сводя с него решительных серых глаз, попросила его продолжать завтракать и внимательно слушала его объяснения о ходе процесса. Лишь изредка вскидывая на нее свой острый, пронизывающий взгляд, ломая кусочки хлеба, собирая крошки, он объяснял ей, что показания шофера Ратценбергера делают исход процесса почти безнадежным. Оспаривать достоверность свидетеля имело бы, может быть, смысл перед другим судом. Этот состав суда не допустит выяснения вопроса о том, как создались эти показания.

– А мои показания? – помолчав, спросила Иоганна.

Защитник на мгновение поднял глаза, затем, ковыряя ложечкой в яйце, попытался уточнить сказанное им уже ранее Иоганне.

– Итак, вы хотите показать, что в ту ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля, Мартин Крюгер пришел к вам и лег с вами в постель?

Иоганна молчала.

– Мне не к чему говорить вам, – продолжал адвокат, вдруг снова остро из-за очков уставившись на Иоганну, – что этим мы не многого достигнем. Тот факт, что доктор Крюгер в ту ночь был у вас, сам по себе не подрывает доверия к показаниям шофера.

– Да неужели Крюгера можно считать способным...

– Его сочтут способным, – сухо произнес адвокат. – Я считаю более правильным, чтоб вы отказались от показаний. То, что Крюгер в течение ночи был у вас, ведь не исключает возможности, что он до этого был у фрейлейн Гайдер. Обвинение, разумеется, станет на ту точку зрения, что он был *также* и у вас.

Иоганна молчала. На ее обычно таком гладком лбу прорезались над переносицей три вертикальные бороздки. Адвокат крошил хлеб.

– Я не думаю, чтобы ваши показания произвели впечатление на судей и присяжных. Напротив, впечатление может оказаться неблагоприятным, если будет доказано, что обвиняемый был в близких отношениях и с вами. Давать такие показания будет вам неприятно, – четко произнес он, внезапно снова охватывая ее своим настойчивым взглядом. – Вас будут расспрашивать о подробностях. Я настойчиво советую вам отказаться от показаний.

– Я хочу дать показания, – упрямо стояла на своем девушка, глядя ему прямо в лицо. Всегда, когда она глядела на кого-нибудь, она вся поворачивалась к собеседнику. – Я хочу дать показания, – повторила она. – Я не могу себе представить, чтобы...

– Вы, кажется, достаточно давно живете в этом городе! – нетерпеливо перебил ее адвокат. – Ведь вы можете с математической точностью рассчитать, какой эффект произведут ваши показания.

Иоганна сидела, упрямо опустив голову. Крепко сжатые губы злым пятном выделялись на побледневшем, смуглом лице. Адвокат добавил, что Крюгер и сам не желает, чтобы она давала показания.

– Ах, это просто красивый жест! – отозвалась Иоганна и неожиданно лукаво улыбнулась. – Как бы сильно он ни желал чего-нибудь, сначала он всегда разыгрывает деликатность и ломается.

– Я, разумеется, постараюсь извлечь из ваших показаний все, что возможно, – произнес доктор Гейер. – Вы смелая женщина, – добавил он, чуть насмешливо улыбаясь, так как не привык делать комплименты. – Вы отдаете себе отчет в неловкости вашего положения во время дачи показаний? – вдруг снова спросил он чисто деловым тоном.

– Да, – ответила Иоганна, раздраженно фыркнув. – Я это выдержу.

– Но я все же настоятельно советую отказаться от показаний, – упрямо стоял на своем адвокат. – Ведь в самом деле из этого ничего не выйдет.

Вошла экономка Агнеса, худая, высокая, с признаками преждевременной старости на желтовато-смуглом лице. Сердитыми черными глазами она с недоверчивым любопытством поглядела на молодую, крепкую женщину. Потом медлительно убрала посуду – дешевые

тарелки с синим узором, изделия заводов «Южногерманские керамики Людвиг Гессрейтер и сын», и переменила скатерть. Доктор Гейер и Иоганна молчали.

– Можете ли вы точно вспомнить, – неожиданно спросил адвокат, когда экономка вышла, – когда в эту ночь доктор Крюгер пришел к вам? Назовите мне точный час.

Иоганна на минуту задумалась.

– Это было давно, – сказала она.

– Это мне известно, – ответил адвокат. – Но вы видите – шофер Ратценбергер, например, точно запомнил время. Я спросил его, в котором часу господин Крюгер вышел из автомобиля, и он ответил, что сейчас же после двух. Никто не придавал особенного значения этому показанию, но оно занесено в протокол.

– Я постараюсь все хорошенько вспомнить, – медленно произнесла Иоганна Крайн. – А что, если мне удастся с точностью установить, что в два часа ночи Мартин Крюгер был уже у меня? – добавила она.

– Тогда доверие к показаниям шофера было бы во всяком случае значительно поколеблено, – быстро ответил адвокат.

Он взял в руки газету, развернул ее; в глаза бросился рисунок с лицами присяжных, легкомысленное лицо присяжного фон Дельмайера.

– Вероятно, и тогда шоферу больше поверят, чем вам, – проговорил Гейер, тщательно складывая газету – Все же при таких условиях ваши показания имеют смысл.

– Я все хорошенько вспомню, – сказала Иоганна Крайн и поднялась. Она стояла перед ним, – широкое ясное лицо, серые смелые глаза над коротким носом, упругие губы, – высокая баварская девушка, твердо решившая хотя бы с опасностью для себя помочь своему неблагоприятному другу выпутаться из глупой истории.

– И все-таки, – еще раз повторил адвокат, – я советую вам отказаться от показаний, особенно если вы не можете совершенно точно вспомнить час.

Иоганна пожала своей несколько широкой грубоватой рукой узкую, покрытую тонкой кожей руку адвоката и вышла.

Из окна смежной комнаты ей вслед смотрело коричневатое-желтое, под копную черных растрепанных волос, лицо экономки Агнесы, и глаза ее напряженно и страстно следили за тем, как Иоганна в своем кремовом, плотно облегавшем ее костюме шла, освещенная лучами июньского солнца.

Доктор Гейер, жалкий и обессиленный, сидел за покрытым разбросанными газетами столом. Эта девушка, эта Крайн была слишком хороша для Крюгера. Эта девушка, несмотря на то что была баваркой с широким баварским лицом и характерным баварским говором, имела некоторое сходство... Но ведь он решил не думать об этом, не думать о мальчике, не думать о его матери. Она умерла, все было изжито, кончено.

Он поднялся, слегка закрихтев. Заметил, что ужасно измазал свой костюм. Позвонил. Вошла экономка. Он закричал на нее: когда она не нужна, то вечно всюду суется, а когда она понадобится, то ее нет как нет. Она огрызнулась своим нервным, скрипучим голосом – сердито и многословно. Хоть теперь-то пусть он наденет костюм, который она для него приготовила. Но он уже не слушал ее и уселся за стол, делая пометки на полях газеты, а может быть, просто рисуя на них завитушки.

Даже тогда, когда экономка давно уже удалилась, он все еще продолжал сидеть так. Болели глаза, и он опустил слегка воспаленные веки под толстыми стеклами очков. Он казался старым и утомленным и не мог, несмотря на обычное умение владеть собой, удержаться от мыслей о свидетельнице Иоганне Крайн и тут же не вспомнить о некоей Эллис Борнгаак, уроженке Северной Германии, давно уже покойной.

## 9. Политики баварской возвышенности

Хотя прекрасный воскресный день многих увлек в горы и к озерам, все же «Тиролер вейнштубе» в это июньское утро была переполнена людьми. Все окна были раскрыты навстречу солнцу, но в обширном помещении царил приятный полумрак. Густой дым сигар стлался над массивными деревянными столами. Посетители ели маленькие хрустящие, поджаренные свиные сосиски или посасывали толстую, сочную ливерную колбасу, в то же время высказывая основательные суждения по вопросам искусства, философии и политики.

В воскресные послеобеденные часы в «Тиролер вейнштубе» собирались преимущественно политические деятели. Они сидели здесь в черных праздничных сюртуках, развязные и самоуверенные. Бавария была автономным государством, и быть баварским политиком — кое-чего да стоило!

Если в то время Европа состояла из многочисленных суверенных государств, одним из которых являлась Германия, то Германия в свою очередь распадалась на восемнадцать союзных государств. Эти страны, и в том числе Бавария, несмотря на то что в силу своей хозяйственной структуры давно уже превратились в провинции, ревниво охраняли свою обособленность. У них были свои традиции, свои «исторические чувства», свои «племенные особенности», свои кабинеты министров. Восемьдесят министров, две тысячи триста шестьдесят пять парламентариев правили Германией. Носители громких титулов, заседавшие в этих союзных правительствах, все эти президенты, министры, депутаты ландтагов не желали исчезнуть с политической арены или в лучшем случае превратиться в провинциальных чиновников. Они не желали признать, что их «государства» давно выродились в провинции. Они всеми силами противились этому, ораторствовали, властвовали, управляли, стремясь доказать свою самостоятельную государственную значимость. Баварские министры и парламентарии в этой борьбе союзных стран с общегерманским правительством играли руководящую роль, находили в защиту автономии союзных стран самые сочные выражения. Выступали с особенно развязной самоуверенностью.

Отблеск этой роли падал и на представителей оппозиции, соратников доктора Гейера. Несмотря на то что они, согласно своей программе, боролись против баварского партикуляризма, они также, благодаря политической структуре Германии, находились до некоторой степени в центре большой политики, чувствовали себя значительными, и воскресные предобеденные часы в «Тиролер вейнштубе» представлялись им чуть ли не историческими.

Они, эти деятели политической оппозиции, устраивались не в маленькой, более дорогой, боковой комнате, а с подчеркнутой простотой в битком набитом людьми главном зале. Чужой всем, худой, с измученным лицом, сидел доктор Гейер между двумя лидерами своей фракции г-дами Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Сразу по приходе он заглянул в соседнюю комнату, где часто бывал министр юстиции. Но он увидел не Кленка, а лишь тяжеловесного Флаухера. Слегка разочарованный отсутствием врага и все же, под влиянием усталости, довольный тем, что не придется бороться, Гейер сидел, торопливо, без всякого удовольствия глотал вино, сквозь табачный дым приглядывался к лицам своих соседей по столу. Иозеф Винингер принадлежал к обычному типу местных «круглоголовых». Над бледно-розовыми, обрамленными белокурой растительностью щеками выглядывали добродушные водянистые глаза. Медленно, миролюбиво, вместе с кусками сосисок, прожевывая отрывки фраз. Амброс Грунер, напротив, вызывающе закручивал усы, сидел, по-фельдфебельски подобрав живот, терся им о стол и в сильных выражениях громил правительство. Что, собственно, нужно было доктору Гейеру среди этих людей? Он знал наверняка: как ни отличны друг от друга эти два человека, они одинаково будут реагировать на слова министра просвещения, поддадутся на приманку грубовато-простодушного обращения. У них была одинаковая душевная основа,



они все, невзирая на социалистическую болтовню, одинаково увязли в липкой тине крестьянской идеологии.

Из соседней комнаты теперь явственно доносился ворчливый голос доктора Флаухера. За его столом шумно спорили о Бисмарке, об особых правах Баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива завода «Шпатенбрей», о транспортной политике Советской России, о зобе – природной болезни местного населения, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана у Штарнбергского озера. Снова и снова разговор возвращался к автопортрету Анны Элизабет Гайдер. Из галереи Новодного просачивались слухи о том, что портрет продан в Мюнхен лицу с видным общественным положением, продан за круглую сумму. Кому именно – оставалось неизвестным. Высказывали предположение, что барону Рейндлю, крупному промышленнику. Спорили о достоинствах картины. Писатель Маттеи собирался в следующем номере своего журнала поместить стихотворение, о котором вчера говорил Гессрейтеру. Оно в голове его уже было готово. Он прочел вслух звучные, сальные строфы, полные яда. Из-за стекол пенсне этот человек с исполосованным сабельными рубцами лицом следил, словно жадный пес, за производимым его стихами впечатлением. За столом раскатисто хохотали, пили за его здоровье. Он сидел откинувшись, держа трубку в зубах, сытый, удовлетворенный. Но другой писатель, доктор Пфистерер, также неперемный член этого общества, нашел стихотворение циничным. По его мнению, Анна Элизабет Гайдер, если бы только ее так не травили, сама вернулась бы к здравому смыслу. Доктор Пфистерер, так же как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и также писал длинные рассказы о жизни в баварских горах, создавшие ему широкую популярность во всей Германии. Но его рассказы были оптимистичны, трогали душу, возвышали; он верил в доброе начало в людях, за исключением разве только Маттеи, которого ненавидел. Они сидели друг против друга, эти два баварских писателя, с багровыми лицами и мерили друг друга из-за стекол пенсне взглядами своих узких глазок. Неуклюжий, с исполосованным рубцами лицом держал голову наклоненной, другой – беспомощно и возбужденно выставял вперед седеющую рыжую бороду.

Все кричали, перебивая друг друга. Победителем в этом крике оказался в конце концов, несмотря на то что он не был особенно громким, голос профессора Бальтазара фон Остернахера. С гибкой, настойчивой изысканностью заглушая все остальные голоса, ратовал он против умершей девушки. Кто посмеет сказать, что он не революционер? Не стоял ли он всегда за безусловную свободу в искусстве, даже и в изображении эротики? Но такая живопись представляла собой вполне определенный физиологический процесс: это был акт самоудовлетворения неудовлетворенной женщины, не имевший ничего общего с искусством.

Кельнерша Ценци, прислонясь к буфету, слушала и с беспокойством видела, что профессор Остернахер в пылу увлечения дает остыть своим сосискам. Она отлично разбиралась в установках своих клиентов по отношению к тем или иным вопросам. Ей многое приходилось слышать. Не бог весть как трудно было сопоставлять одно с другим. Она могла бы вскрыть подноготную многих событий в области политики, хозяйства и искусства. Она знала и то, почему так горячился профессор Остернахер и давал остыть стоявшим перед ним сосискам.

Большой человек этот профессор, знаток истории искусства, знаменитый и высоко оплачиваемый, особенно по ту сторону океана. Приезжие, когда она называла им его имя, с любопытством и уважением поглядывали на него. Но кассирша Ценци хорошо помнила его искаженное лицо, когда однажды кто-то из его прихвостней донес ему, что Крюгер отозвался о нем как о «способном декораторе». Она прекрасно понимала, что факт покупки пропагандируемой этим Крюгером картины, да еще мюнхенцем, да еще за высокую цену, он принял за личное оскорбление. Она знала его лучше, чем знали его даже жена и дочь. Да, он действительно когда-то был революционером в своей манере письма. Но он застыл в этой манере, а мода на нее оказалась преходящей. Он постарел и, когда ему казалось, что никто не наблюдает за ним –

Ценци знала это, – постариковски горбился. Ценци хорошо угадывала его настроение, когда он бранился. Ведь это он, собственно, не на других нападал, а его кололо, злило, мучило собственное крушение. В таких случаях она особенно мягко, по-матерински обращалась с ним и успокаивала его до тех пор, пока, охрипший от злобного напряжения, он не принимался за остывшие сосиски.

В шум кипевших кругом споров ворвался звук подкатившего новехонького темно-зеленого автомобиля. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, морщинистым сияющим мужицким лицом – Андреас Грейдерер, художник, написавший «Распятие». Широко шагая, доверчиво направился он к столу своих знаменитых коллег. Они всегда терпели его в своем обществе: ведь о нем не могло быть речи как о конкуренте. Наивное крестьянское остроумие и умение ловко играть на губной гармонике давали ему возможность занимать свое постоянное место в этом кругу. Но сегодня, когда он, добродушно подшучивая над своим чертовски неожиданным успехом, подошел к ним, его встретили с кислыми, недоступными лицами. Никто не выразил склонности отодвинуться, чтобы освободить для него место. Наступило молчание. С другой стороны площади, из пивной, донеслись звуки духового оркестра, игравшего популярную песню «Томится в Мантуе в окопах верный Гофер...». Смущенный холодным приемом, Грейдерер вернулся назад в общий зал, натолкнулся там на представителей оппозиции. При других условиях господ Винингер и Грунер демонстративно приветливо встретили бы художника, подвергнувшегося преследованиям со стороны министра просвещения. Но сегодня они очень скоро постарались отделаться от него, предугадывая, что его присутствие помешает столь желанной воскресной добродушно-воинственной беседе с «большоголовыми». Они становились все более односложными, пили, курили, ограничиваясь ничем не выражавшим хмыканьем. Художник долго не замечал, что именно он является причиной этого кислого настроения. Но наконец, почуяв, в чем дело, он удалился в своем темно-зеленом автомобиле, провожаемый взглядами всех присутствующих.

Зато теперь вместо него к столу в главном зале подошли наконец министр Флаухер и писатель доктор Пфистерер. Дело в том, что, согласно создавшемуся обычаю, министры правящей партии, лстя таким образом мещанскому самолюбию оппозиции, в предобеденные воскресные часы, за утренней кружкой пива, подходили к столу депутатов и вступали с ними в безобидные споры. Вот они сидели здесь, все эти политики Баварской возвышенности. Вежливо беседовали друг с другом, осторожно нащупывали слабые места противника. Франц Флаухер, облекший свое короткое, грузное тело в поношенный долгополый черный сюртук, в чем-то убеждал г-на Винингера, изредка что-то бурча себе под нос, стараясь быть очень вежливым. Писатель Пфистерер завладел Амбросом Грунером, добродушно похлопывал его по плечу.

Доктору Гейеру все четверо мужчин казались вылепленными из одного теста, из безвкусного баварского теста: хитрые, узколобые, лишенные горизонта, угловатые, как ущелья их родных гор. Их грубые голоса, привыкшие пробиваться сквозь гомон шумных собраний, пивные пары и дым скверных сигар, старались смягчиться до сдержанного, приветливого тона. Они говорили вымученно-литературным немецким языком, то и дело сбиваясь на жесткое и протяжное местное наречие. Тяжелые и массивные, сидели они на крепких деревянных стульях, улыбаясь друг другу с грубоватой вежливостью, – хитрые торговцы скотом, не склонные при заключении какой-либо сделки чрезмерно доверять друг другу.

Разговор вертелся вокруг вопроса о недавно введенной возрастной норме для государственных чиновников. Государственные служащие, достигшие шестидесяти шести лет, должны были уходить на пенсию, и только в исключительных случаях правительство могло разрешить особо незаменимым чиновникам продолжать службу. Такого рода исключение министр Флаухер хотел сделать и по отношению к одному из профессоров-историков Мюнхенского университета, тайному советнику Каленеггеру, давно уже перешагнувшему за положенный предельный возраст. Дело в том, что в Мюнхенском университете на кафедре истории

имелось три профессуры. Назначение на одну из них, согласно заключенному с папой конкордату, требовало утверждения епископской властью, и, следовательно, ее занимал благонадежный католик. Вторая предназначалась для специалиста по истории Баварии, и, естественно, ее также занимал благонадежный католик. Третья, наиболее значительная, когда-то основанная королем Максом II специально для знаменитого исследователя Ранке, в настоящее время была занята тайным советником Каленеггером. Каленеггер свою жизнь и все свои исследования посвятил изучению биологических законов города Мюнхена. С маниакальным усердием подбирал он материалы, неизменно все явления геологического, палеонтологического, биологического характера связывая с историей Мюнхена и стремясь доказать, что Мюнхен, в силу всех законов природы, должен был быть и неизбежно оставаться и в будущем крестьянским земледельческим центром. При этом он никогда не впадал в противоречия с учением церкви и проявил себя как благонадежный католик. Правда, за пределами города Мюнхена результаты исследований Каленеггера считались нелепостью, так как маститый ученый совершенно упускал из виду как создавшуюся в связи с развитием техники независимость человека от местного климата, так и социальные сдвиги последних столетий. Факультет предполагал, в случае ухода Каленеггера на пенсию, предложить на эту должность ученого, хотя и коренного баварца, но протестанта. Мало того: этот ученый в одной из своих работ о политике Ватикана пришел к заключению, что папская власть по отношению к английской королеве Елизавете поступала несоответственно с законами христианской морали, ибо заранее знала о покушениях на убийство английской королевы, подготовлявшихся Марией Стюарт, и одобряла их. На этом основании доктор Флаухер твердо решил противодействовать назначению такого кандидата и не распространять на профессора Каленеггера закона о возрастной норме.

В то время как Флаухер пространно, в восторженном тоне расписывал значение Каленеггера, доктор Гейер приглядывался к старику-профессору, сидевшему в соседней комнате за столом «большеголовых». Долговязый, неуклюжий, несмотря на худобу, сидел он на своем стуле; костлявая узкая голова с широким горбатым носом поворачивалась на невероятно длинной высохшей шее. Странно беспомощные, тупые птичьи глаза обводили взглядом присутствующих. Изредка старец откуда-то из глубины гортани извлекал хотя и громкий, но какой-то бессильно-напряженный голос, изрекал несколько плавных, словно готовых к печати, безжизненных фраз. Доктор Гейер думал о том, как давно уже иссякли умственные способности этого старца. Весь научный мир Германии постепенно начинал смеяться над этим человеком. Ведь он все последние десять лет посвятил служению одной идее: он изучал историю слоновочного чучела, хранившегося в мюнхенском зоологическом музее, того самого, которое после неудачного нападения султана Сулеймана II на Вену попало в руки императора Максимилиана II и было впоследствии подарено им баварскому герцогу Альбрехту V.

Доктор Гейер лично ничего не имел против Каленеггера, но был против преподносимых с таким наивным убеждением преувеличенных похвал Флаухера.

— Ну а как же с четырьмя томами слоновых исследований Каленеггера? — внезапно своим резким, неприятным голосом спросил он Флаухера.

Наступило молчание. Затем почти одновременно заговорили доктор Пфистерер и Флаухер. Доктор Пфистерер восхвалял краеведческие исследования старого тайного советника, в которых нераздельно сплетены знание и чувство. Неужели доктор Гейер серьезно считает, что такое изучение своего края не имеет значения?

— Давайте не делать мухи из каленеггеровского слона! — добродушно закончил он.

Флаухер, с своей стороны, серьезно и неодобрительно заметил, что если отдельные лица и недооценивают смысл и значение таких исследований, то народ в целом к таким американским взглядам относится резко отрицательно. Душа народа привязана к этим слонам, как привязана к башням Фрауэнкирхе или другим старинным достопримечательностям города.

– Правда, – мягко закончил министр, – на господина депутата Гейера не приходится особенно обижаться, если он в своей душе не находит настоящего отклика на такие вещи. Такие чувства доступны лишь тому, чьи корни выросли в землю этого края.

И Флаухер с почти презрительным состраданием оборвал разговор с адвокатом. Тупо и прямодушно поглядел он в глаза депутату Винингеру. Затем он так же дружески-предостерегающе поглядел и на депутата Грунера.

– Уважения достоин седовласый ученый Каленеггер, – проговорил в заключение Флаухер. – Всяческого уважения!

И все поглядели в ту сторону, где сидел старый профессор. Депутат Винингер, слегка растроганный, кивнул головой. Депутат Амброс Грунер задумчивым жестом бросил собачонке министра колбасную кожуру.

И вдруг адвокат доктор Гейер ощутил странное одиночество. Каленеггер и его слоны... Все они – реакционный министр, реакционный писатель и депутаты оппозиции, – все они, невзирая на политический антагонизм, были крепко спаяны друг с другом, все они были сынами Баварской возвышенности, а он, адвокат-еврей, сидел между ними чужой, враждебный и лишний. Он вдруг увидел, что на нем поношенный и испачканный костюм, и ему стало стыдно. Неловко и поспешно покинул он зал ресторана. Из большой пивной с другой стороны площади доносились звуки исполнявшейся с большим чувством и усиленным участием медных инструментов старинной местной песенки о зеленом Изаре и безграничном уюте. Кассирша Ценци, несмотря на полученные от него щедрые чаевые, глядя вслед поспешно удалявшемуся адвокату, решила, что он отвратительный субъект и что ему здесь вовсе не место. И она бережно долила новым вином стакан полудремавшего тайного советника Каленеггера.

Канцелярия, рассчитанная на большое число людей, обычно наполненная суетой служащих и треском пишущих машинок, сегодня, в воскресной тишине, казалась печальной и безжизненной. В воздухе держался запах бумаг, дыма, остывших сигар. Беспощадный свет солнца освещал каждую пылинку в этом голом помещении, яркой полосой ложился на неубранный, засыпанный пеплом письменный стол. Адвокат, кряхтя, достал объемистую рукопись, закурил сигару. Он выглядел старым, его тонкая бледно-розовая кожа при этом ярком свете казалась помятой. И он писал, изображал, сопоставлял цифры и даты, документально подтверждал многообразную историю беззаконий в Баварии в исследуемый им отрезок времени. Он писал, курил; сигара потухла – он все писал. Сухо, деловито, усердно, безнадежно.

## 10. Художник Алонсо Кано (1601–1667)

В это же время заключенный Крюгер сидел в камере сто тридцать четыре. Он поставил перед собой хорошую репродукцию автопортрета испанского художника Алонсо Кано из Кадикского музея. Об этом автопортрете нетрудно было сказать несколько метких фраз. Ленивый идеализм художника, гибкий талант, чрезмерно облегчавший ему работу, так что он и не делал попытки когда-либо действительно до предела напрячь свои силы, пустая декоративность, – заманчиво, пожалуй, было бы показать, как все эти черты отражаются в этом выхоленном, изящном, не лишенном выразительности лице. Но фразы в мозгу Мартина Крюгера закруглялись чересчур легко и свободно, картина заражала его, он не находил в себе той исходной точки покоя и силы, с которой он мог серьезно и вдумчиво судить о художнике и его творчестве.

Небольшая камера при резком освещении казалась сегодня какой-то особенно голой и неуютной. Крюгер вспомнил Кадикс, окруженный морем, четко белевший под ярким солнцем. Он чувствовал себя не то чтобы плохо, а как-то чересчур трезво и неокрыленно. Стол, стул, откинутая койка, белая кадка – и среди всего этого изящно очерченное лицо художника Кано, его франтовато-холеная, белокурая борода на декоративно ржаво-красном фоне. У Крюгера мелькнула мысль, что, в сущности, безразлично, перед каким фоном мы стоим: перед серой ли стеной камеры, или перед такой картиной, или перед такими фразами, какие он как раз сейчас писал.

В камеру пропустили Каспара Прекля. Молодой инженер глубоко запавшими, блестящими глазами неодобрительно взглянул на автопортрет Алонсо Кано. Он ценил умение Крюгера выразить и передать другим свое понимание и проникновение картиной, но считал, что его высокоодаренный друг стоит на ложном пути. Он, Каспар Прекль, находил, что задачи искусствоведения в наше время совершенно иные. Проникшись современными теориями, видящими в экономике основу всего исторического процесса, он был убежден, что первейшей задачей искусствоведения является изучение вопроса о роли искусства в социалистическом обществе. Он полагал, что марксизм, по вполне понятным соображениям, не мог внести ясность в этот вопрос, так как он должен был заниматься более важными делами. Значение искусствоведения в нынешние времена и состояло в том, что лишь теперь, впервые со времени его существования, ему суждено было, освободившись от сухого коллекционерства, ожить и, в содружестве с политическими науками, подготовить почву искусству в пролетарском государстве. Он, молодой, полный огня и действенной любви к искусству, старался направить Крюгера, к которому был искренно привязан, на правильный путь.

То, что здесь стоял автопортрет Алонсо Кано, раздосадовало его. Он вначале был огорчен злой судьбой Крюгера, вовлекшей его в водоворот баварской политики, но затем почти обрадовался случившемуся: он надеялся, что Крюгер, на самом себе так болезненно испытав все отрицательные стороны современного государственного строя, откажется от своего сибаритского подхода к жизни и найдет путь к нему, своему другу. Мрачно глядели на картину из-за выдававшихся скул его запавшие глаза. Но он промолчал и сразу же подошел к непосредственной цели своего посещения. Владелец «Баварских автомобильных заводов», где служит Каспар Прекль, барон Рейндль, – отвратительный субъект. Но он интересуется вопросами искусства. Рейндль очень влиятелен. Преклю, быть может, удастся добиться его вмешательства в дело Крюгера. Крюгер не возлагал особенно больших надежд на успех этого дела. Он знал Рейндля, и у него сложилось впечатление, что барон его терпеть не может. Вскоре, как часто бывало во время их бесед, Мартин Крюгер и Каспар Прекль отклонились от основной темы и увлеклись спором о возможностях и реальных успехах искусства в большевистском государстве. Когда

истекло время свидания, им пришлось наспех, в две минуты, обсудить шаги, которые Каспар Прекль должен был предпринять в пользу Крюгера.

После ухода молодого человека Крюгер почувствовал себя необычайно свежим и полным энергии. Одним взмахом руки скинул он со стола репродукцию картины. Потом набросал на бумаге несколько мыслей, на которые навела его беседа с Преклем. Самое важное пришло в голову, разумеется, лишь после ухода собеседника. Он улыбнулся: это было благоприятным показателем. Он писал так живо, твердо, убедительно, как это ему редко удавалось. Работа так увлекла его, что только приход надзирателя, принесшего ужин, напомнил ему, где он находится.

## 11. Министр юстиции проезжает по своей стране

В тот же воскресный день министр Отто Кленк через зеленеющие и желтеющие отроги Баварских Альп направился в горы. Он ехал не чересчур быстро. Ветерок, еще усиленный движением, навевал приятную прохладу. Почти не было пыли. Машина въехала в густой лес. Кленк, одетый в горный костюм из грубой ткани, весь отдался наслаждению быстрого движения.

Красновато-смуглое лицо Кленка освободилось от всякого напряжения. С трубкой в зубах, в необычной для этих мест небрежной и свободной позе, правил он машиной. Как хорош был этот край! Четко и рельефно выступали все контуры в чистом, живительном воздухе. Хорошо было жить здесь и постоянно вдыхать этот воздух. Здесь не докучали ненужные мысли. Весь день – то вверх, то вниз по горам, так что нужно было хорошо владеть своим дыханием. Ветер, снег, солнце закаляли и душу, и кожу. Кленк распорядился, чтобы его ожидал егерь: он обойдет места охоты. Он предвкушал удовольствие от грубой пищи, которой угостит его Вероника. Кстати, нужно будет как-нибудь при случае навести справки о своем и ее сыне Симоне, которого он пристроил в банк в Аллертсгаузене. Этот соплук доставлял окружающим немало беспокойства. Ему, Кленку, это было по душе. Молодец бабенка эта Вероника: не пристаёт к нему насчет парня. Вообще он все это прекрасно устроил. Жена, эта жалкая, высохшая старая коза, несколько не стесняет его и рада, когда он проявляет по отношению к ней шутиливую жалость.

Автомобиль скользил вдоль берега красивого удлинённого озера. Холмистые берега, а за ними извилистая линия гор.

Удобный дорожный автомобиль обгоняет его. В нем большая компания экзотического вида людей. Много приезжих катается теперь по стране. Он недавно читал статью: усовершенствование транспорта будто бы неизбежно вызовет нечто вроде нового переселения народов; малоподвижный, оседлый тип будет вытеснен более легким, кочевым; готовится великое, всеобщее смешение рас. Уже началось.

Министр насмешливо, с легким отвращением глядел вслед автомобилю с чужеземцами. Ну, ему, к счастью, вряд ли придется дожить до этих прекрасных времен! Он лично ничего не имеет против иностранцев. Возможно, что китайцы, например, – представители более древней и зрелой культуры, чем баварцы. Но ему клецки и ливерные сосиски кажутся вкуснее печеных плавников акулы, он охотнее читает книги Лоренца Маттеи, чем произведения Ли Тайпо. Он не допустит, чтобы его поглотила чуждая культура.

Его внимание привлекла до сих пор не замеченная им доска, какие тысячами расставлены вдоль баварских дорог в память о погибших от несчастного случая. Он затормозил машину, с интересом принялся разглядывать наивный, сделанный неумелой крестьянской рукой рисунок, красочно изображавший, как всеми уважаемый пятидесятичетырехлетний земледелец свалился в бездну вместе с своей груженной сеном телегой. Помещенные под рисунком неуклюжие стихи приглашали путника помолиться о душе погибшего. Бог-де сжалится над ним, ибо у него такая была жена, которая уже кабачок превращала для него в ад земной. Министр, ухмыляясь, прочел эти хитровато-грубые стишки, автор которых фамильярно торговался с богом за душу усопшего. Он как-то нутром, искренне интересовался такими вещами; как и многие его земляки, издавна любовно и основательно занимался ими. Знал тьму любопытных анекдотов из области баварской истории и этнографии. Знал, например, почему его зовут Кленк, а не Гленк, и мог вести с писателем доктором Маттеи, лучшим знатоком этих вопросов, многочасовые обоснованные споры о мельчайших оттенках баварского диалекта.

Рядом с автомобилем министра остановилась другая машина. Какой-то любопытный глядел на доску с надписью. Явно небаварские уста, с трудом разбирая слова и не понимая их

смысла, произносили стихи. Очевидно, какой-то приезжий из Северной Германии. Скоро здесь будет больше чужеземцев, чем местных жителей. Гостиницы и бары для приезжих чуть ли не вытесняют уже дома местного населения. Надо будет как-нибудь заглянуть в статистические данные о том, сколько со времени войны угнездило в стране всякого небаварского элемента.

Он поехал быстрее. Невольно выпрямился. Невольно вспомнил адвоката доктора Гейера. Он мысленно увидел перед собою рыжеватую голову, обтянутое тонкой кожей лицо адвоката, пронизывающий взгляд сквозь толстые стекла очков, подвижные, цепкие, с трудом сдерживаемые в покое руки. Ему показалось, что он слышит неприятный голос Гейера. Если бы этот субъект попался ему когда-нибудь в руки! Он уничтожил бы его. Кленк крепко прикусил зубами мундштук своей трубки. Логика, права человечества, государственное единство, двадцатый век, европейские взгляды... Чушь! Он фыркнул сквозь сжатые губы, зарычал, словно возбужденный зверь при виде врага. Что понимает такой пыж, такой карьерист, такая еврейская свинья в том, что такое Бавария и что для Баварии нужно? Никто его сюда не звал. Никто не нуждается в его поучениях. Когда этакий баран суетса со своей дурацкой головой куда не следует, то даже пиво скисает.

Но скоро под высоким ясным небом Баварской возвышенности его гнев испаряется. Министр доктор Кленк – разумный человек и знающий человек. Прекрасный юрист, из состоятельной, издавна культурной семьи, поставлявшей стране много поколений видных чиновников, знаток людей со всеми их свойствами, он мог бы, если б только захотел, воздать доктору Гейеру должное по заслугам. Но надо захотеть, а он и не собирается.

Он достиг южного конца растянувшегося в длину озера. Прекрасные стояли горы, зеленые, голубые, четко обрисовывались их контуры. Погода была чудесная, самая приятная для езды. Он ускорил ход, спокойно, без всякого напряжения, сидел за рулем и дал волю скользить с одного предмета на другой своим мыслям, игрушечно-пестрым, как чистый и яркий ландшафт, расстилавшийся перед ним.

Картину чувствуешь или не чувствуешь – не для чего разводить вокруг нее столько канители, как делает этот Крюгер. Все же у Крюгера ясная голова. Нужно же было этому дурню соваться в сложную механику баварской политики! Нужно же было ему бунтовать! Не мог, что ли, этот болван пороссячий держать язык за зубами? Ну и чего он добился? Нет, милейший! Когда дело идет о баварских делах, мы не любим, чтобы нам мешали.

Крикун Флаухер, разумеется, осёл. Просто беда, что одни дураки соглашаются идти в кабинет министров. А ведь есть и подходящие люди, он мог бы назвать два-три имени. Почему среди его коллег нет таких людей, как, например, этот тонкий старик, граф Ротенкамп, сидящий в своем замке в горах Химгау, тихий, осторожный, изредка совершающий поездки в Ватикан, ведущий в контакте с дипломатами Ватикана осторожную политику, навещающий в Берхтесгадене<sup>1</sup> кронпринца Максимилиана? Почему дозволено оставаться в тени Рейндлю, фактическому хозяину «Баварских автомобильных заводов», благодаря своим связям с большим Рурским концерном господствующему над всей баварской промышленностью? Уж не говоря о докторе Бихлере, этом хитром лидере крестьянской партии, старой лисе, который – когда ни спроси – ни к чему не причастен, ни о чем не знает, ничего не говорил. Но горе министру или депутату, осмелившемуся что-нибудь сказать или сделать, не считаясь с его директивами. Еще бы! Эти божки держатся в тени, остаются невидимыми, а ответственность должны брать на себя другие, порядочные люди, несколько ограниченные и – боже упаси! – не слишком самостоятельные.

А вот имя Тони Ридлера. Этот вот тоже отошел от официальной политики. Здорово пожил, пока был баварским дипломатом, затем во время войны и после нее нажился и занялся хозяйством. Обзавелся недавно третьим автомобилем – прекрасной итальянской

---

<sup>1</sup> В Берхтесгадене после революции 1918 г. поселились члены бывшей баварской королевской семьи.



машиной, прижил кучу незаконных детей. Забавы ради организует нелегальные союзы, так что ему, Кленку, подчас трудно закрывать на это глаза. Перебарщиваем мы немножко в нашей клерикальной Верхней Баварии с незаконными детьми. У нас процент их выше, чем где бы то ни было в Средней Европе. Не повезло этому Крюгеру. Нелепо, что ему пришлось сесть за решетку только за то, что он спал с женщиной. Свинская работа – это руководство официальной баварской политикой. Тем, кто в действительности тайно руководит ею, много легче. Число убийств во время драки и других подобных преступлений, если судить по последним статистическим данным, к югу от Дуная все еще выше, чем в любой другой части Германии. Мы можем похвастать своей преступностью: цифры тут такие, что небу жарко станет. Мы – народ полнокровный, этого отрицать не приходится.

Гоп-ля! Он чуть было не задавил велосипедиста. Спидометр показывал девяносто километров в час. «А ты шире открывай свои бычьи глаза, обезьяна пареная!» – бросил он на ходу обычное местное ругательство в ответ на брань испуганного велосипедиста. Лучше всего иметь дело с собаками. Велосипедисты – это самые идиотские создания на свете. Он улыбается, вспоминая, что из всех городов Германии в Мюнхене наибольший процент велосипедистов. Вот-то было бы восторга и шума в оппозиционной прессе, если бы он имел несчастье переехать одного из них!

Напрасно не захватил он с собой нового издания «Философии права». Кленк любил на охоте почитать и интересовался вопросами философии права. Он хорошо разбирался в запутанных проблемах гетерономии и автономии, законности и нравственности, теории организической и договорной. Нередко поражал парламент какой-нибудь ловко подобранной малоизвестной теоретической цитатой. Он, Кленк, может позволить себе роскошь заниматься проблемами. Это очень занятно. «И-де-о-логическая надстройка», – бормочет он, усмехаясь, смакуя каждый слог, и ускоряет ход машины. Теории теориями, а вот он, Кленк, – законодатель, от разъяснений которого, согласно известному изречению, целые библиотеки превращаются в макулатуру.

А гнусная рожа все-таки у этого Гейера. Ломака этакий, паршивец! Истерический всезнайка. С Тони Ридлером он тоже когда-нибудь сцепится. Воображает о себе невесть что... Да, философия права... Обширная область... Он, Кленк, не интересуется тем – справедливо или нет. Он поставлен для того, чтобы уберечь страну от проникновения в нее вредных для народа влияний. Он делает то же, что и ветеринар, принимающий меры против распространения эпидемии ящура.

Ветер усилился. Сейчас же после обеда он со своим егерем Алоисом отправится к охотничьему шалашу. Он дает газ, снимает шапку, предоставляет легким струям воздуха обвевать скудно поросший волосами череп. Он проезжает по своей стране, с трубкой в зубах, довольный, с прекрасным аппетитом, бдительный.

## 12. Письма из могилы

На следующий день прокурор сделал решительный выпад: потребовал оглашения ряда документов, оставшихся после покойной Анны Элизабет Гайдер. Эти документы были сразу же после ее смерти от отравления опечатаны судебными органами и никому, кроме лиц, причастных к составу суда, не были известны.

Чиновник судебной канцелярии приступил к чтению вслух документов. Это были отрывки из дневника и неотосланные письма. Набросанные характерным почерком покойной на клочках бумаги лиловыми чернилами и очень острым пером, они теперь были из предосторожности перепечатаны на машинке, чтобы читавший их секретарь не запутался в них. Из уст этого секретаря, из его ребяческих, добродушных уст, над которыми торчали тщетно претендующие на лихость усики, слышали судьи, присяжные, журналисты, публика, услышал защитник доктор Гейер, впервые услышал и сам Крюгер эти вырвавшиеся из глубины страстной души и обращенные к нему слова. Секретарь суда, правда, раз уже перечел документы перед заседанием, чтобы как-нибудь не запнуться и публично не осрамиться. Речь в этих записках шла о вещах, для него необычных. Кроме того, общее внимание хотя и льстило ему, но в то же время и связывало. Он потел, заикался и часто откашливался, невольно благодаря местному акценту, подчеркивал отдельные слова. Нелегко было Крюгеру, впервые из таких уст и в такой обстановке выслушивая эти так близко касавшиеся его и проникнутые глубоким чувством слова, владеть выражением своего лица в той мере, в какой следовало бы.

Из всей массы материала прокурор выбрал два места в дневнике и одно недописанное письмо. Тем же впечатляющим стилем, который был свойствен и ее манере живописи, Анна Элизабет Гайдер писала о Крюгере. Бесстыдно, обстоятельно, обнаженно говорилось о том, как на писавшую эти строки действовали малейшие прикосновения Крюгера: его пальцы, его губы, его мускулы. В словах таился страстный огонь, странно смешанный с атмосферой католических умопредставлений, – должно быть, под влиянием полученного ею в монастыре воспитания. Все вместе было исполнено то сдерживаемой, то вновь и вновь прорывающейся чувственности. Необычные слова, вырвавшиеся из неволи звериные вопли... Трудно понимаемые в устах секретаря, подчас почти смешные. Исповедь во всяком случае звучала не так, как если бы речь шла о товарищеских отношениях.

Присутствующие глядели на руки Крюгера, о которых много говорилось в записках, на его губы, на него самого. Неприятное чувство от необычайного бесстыдства, с которым эти чисто личные записки умершей при ярком свете судебного зала, при многочисленных слушателях бросались в лицо человеку, к которому относились, – это неприятное чувство, охватившее кое-кого из присутствующих, заглохло среди общего возбуждения. Словно следя за боксером, в последней схватке задыхающимся под тяжелыми ударами противника, и стараясь предугадать, устоит ли он на ногах, присутствующие ожидали поражения доктора Крюгера под тяжестью прочтенных заметок. Адвокат доктор Гейер, не сводивший своих голубых глаз с уст секретаря, сидел, плотно сжав губы. Он проклинал поэтически-страстные выражения покойной, дававшие любому противнику возможность делать из ее слов нужные ему заключения. Он отметил сильное впечатление, произведенное на суд, публику, прессу. Заряд прокурора попал в цель. Это было неоспоримо. По лицам даже и доброжелательно настроенных видно было, что убеждение в двусмысленности отношений Крюгера с покойной крепло с каждым словом.

В заключение прокурор предложил прочесть начатое и неотосланное письмо девушки. Все тело ее, – писала она, – пылающий огонь, когда нет Мартина. Она бежит под дождем, ей нечем дышать. Ее картины остаются неоконченными, она часами простаивает под окнами его квартиры и перед картинной галереей. Она знает, что он не жаждет ее с такой дикой и кроткой страстью, как она его. Только сгорая под его огнем она может дышать. Когда она слышит на

лестнице его шаги, колени ее подгибаются. Но проходят долгие дни, пока наконец он является. Она заставляет себя работать, но ничего не выходит. Тоска и страстное желание отгоняют от нее все образы. Усталая, с пересохшим ртом и горячими руками, сидит она, и нет на свете ничего, кроме ее жуткого смещения и тоски и резкого голоса надворной советницы, требующей денег.

Все это было прочитано вслух секретарем Иоганном Гутмюллером в зале номер три Дворца юстиции, перед судом присяжных, при напряженном внимании публики. Некоторые из дам сидели, глуповато, но мило полуоткрыв рот, другие слушали, тяжело дыша, смущенные тем, что женщина могла писать мужчине такие вещи. Женщины всегда охотно и долго останавливали свои взгляды на Мартине Крюгере. Но никогда еще так много женских глаз с таким настойчивым вниманием не впивалось в него, как в этот день, 5 июня.

Председательствующий, доктор Гартль, улыбался философски, с легкой грустью. Эти письма покойной, – находил он, – крайне типичны. Это ценные документы. Вот каковы они, эти «чужаки». У них нет устойчивой линии, нет гордости. Они готовы позволить себе все, что угодно. Выбалтывают все, что взбредет на ум, без всяких задерживающих моментов, без всякого стыда. Ну и что же толку? В итоге – неудовлетворенная чувственность, тоска, отвернутый газовый кран и возбуждающая, сомнительная по содержанию картина. Он заботливо помог секретарю разобраться в нескольких трудных выражениях, распорядился в эту жаркую погоду, как только на улице повеял легкий ветерок, раскрыть окно.

Прокурор упивался оглашением документов, вытянув шею, наклонив вперед голову с покрытыми легкой растительностью ушами, стремясь не проронить ни слова, и, внутренне торжествуя, констатировал произведенный эффект.

На скамье присяжных слушали с напряженным вниманием. Антиквар Каэтан Лехнер, ошеломленный, с глуповатым видом уставился на читавшего, поглаживал баки, реже, почти машинально пользовался своим пестрым платком. Он вспомнил о своей дочери Анни и ее связи с этим противным парнем, Каспаром Преклем. Удивительное дело, какие глупости лезут в голову такой девчонке. Правда, представляя себе свежее, здоровое лицо Анни, он с трудом допускал, чтобы она способна была когда-нибудь сочинить такую галиматью. С другой стороны, никогда нельзя было знать заранее, когда человек связывался с кем-либо из этих «чужаков», до чего это может довести. Пользы тут мало. Раздраженно вертел он головой на зобастой шее, с отвращением глядя на Мартина Крюгера. Учитель гимназии Фейхтингер и почтальон Кортеси, соображавшие ту же других, понимали только, что речь идет о чем-то грязном, похабном, явно уличавшем Крюгера в лжесвидетельстве. Придворный поставщик Дирмозер, хотя голова его и была достаточно занята делами его перчаточного магазина и болезнью ребенка, все же прислушивался к чтению и удивлялся, сколько хитрых слов придумывали эти господа, чтобы выразить такую простую вещь, как то, что происходило между Крюгером и этой Гайдер. Если они способны были выдумывать такие сложности, перед тем как лечь вместе в постель, то чего бы только они ни наговорили, если бы им пришлось впутаться в такое серьезное дело, как торговля перчатками. Оживленно, стараясь изобразить ироническую улыбку бонвивана на бледных губах, следил за чтением и страхового агент фон Дельмайер, презрительно щурившийся водянистыми глазами. Время от времени он раздражался резким, блеющим смехом, вызывавшим возмущенные взгляды адвоката Гейера.

Карими с поволокой глазами глядел со скамьи присяжных на Крюгера коммерции советник Пауль Гессрейтер. Он был человек покладистый и, хоть и ворчал изредка, все же был удовлетворен всем миром, людьми и делами, а прежде всего своим родным городом Мюнхеном. А все же – что через край, то через край! Крюгер – малосимпатичный господин, но преследовать человека письмами из могилы – это просто неприлично. С лица Пауля Гессрейтера исчезло выражение обычной флегматичной терпимости, привычной ему томной приветливости. Он напряженно и досадливо наморщил лоб и так тяжело задышал, что сосед его с удивлением

оглянулся, думая, что он задремал и начинает похрапывать. Быть может, коммерции советник Гессрейтер в это время думал о том, как бессмысленно трудно – а особенно в клерикальном Мюнхене – добиться развода. Быть может, он думал о том, что чуть ли не ежедневно мужчины оказываются в таком положении, что им – с ним лично это случилось уже дважды – под присягой приходится утверждать, что они с той или иной женщиной не состояли в близких отношениях.

А секретарь между тем продолжал читать длинное письмо покойной девицы Анны Элизабет Гайдер, написанное ею в ночь с 16 на 17 октября в нетопленной мастерской, застывшими пальцами, – «на клавишах сердца», как сказано было в этом письме, – и с значительным опозданием столь необычным путем дошедшее до адресата.

### 13. Голос из могилы и множество ушей

Газетные отчеты по поводу записок покойной девицы Гайдер отличались чрезвычайной красочностью. Оглашение этих записок называли «сенсационным моментом процесса». Ловкие репортеры бойким пером описывали, какое тяжелое впечатление на присутствующих произвело это жуткое загробное объяснение в любви, дошедшее до того, кому оно предназначалось, так поздно, в передаче секретаря суда, при ярком дневном свете и бесчисленных свидетелях, к тому же еще неся с собой угрозу тюремного заключения. Многие выдержки из дневника и писем приводились дословно, некоторые были отпечатаны жирным шрифтом.

Читали эти отчеты жители города Мюнхена: широкоплечие мужчины, круглоголовые, медлительные в движениях, в походке, в мышлении. Ухмылялись, наслаждаясь, до дна выпивали из серых глиняных кружек крепкое пиво, хлопали кельнерш по ляжкам. Читали эти отчеты старые женщины, приходя к убеждению, что в их времена такое бесстыдство было бы невозможно, и молодые девушки, тяжело дыша, чувствуя, как слабеют их колени. Читали эти отчеты и жители города Берлина, возвращаясь из контор и заводов, проезжая на империалах автобусов по горячему асфальту или притиснутые друг к другу в длинных вагонах метро, держа за ременные петли, усталые, размякшие, возбуждаясь странно наивными и бесстыдными словами умершей девушки и косясь на плечи, груди и шеи женщин, сильно открытые по моде того времени. Совсем еще молодые подростки читали этот отчет – четырнадцатилетние, пятнадцатилетние; завидовали получателю писем, досадовали на свою юность, возбужденно рисовали себе то время, когда и они будут получать такие послания.

Читал этот отчет и министр просвещения доктор Флаухер, сидя в своей низкой, заставленной старой плюшевой мебелью комнате. Это было больше, чем он мог ожидать. Он даже забубнил что-то вполголоса, так, что такса у его ног подняла голову. Читал и профессор Бальтазар фон Остернахер, видный художник, когда-то названный Крюгером «декоратором». Он улыбнулся, снова еще интенсивнее принялся за работу, хотя, собственно, собирался уже кончить на этот вечер. Оценку, данную ему Крюгером, он считал теперь окончательно опровергнутой. Читал отчет и доктор Лоренц Маттеи, лучший изобразитель баварских народных типов. Его мясистое, злое, мопсообразное лицо стало еще злее, еще краснее стали шрамы от сабельных ударов времен его студенчества. Он снял пенсне, скрывавшее маленькие, недобрые глазки, тщательно прочистил его, вторично, без особого удовольствия перечел отчет. Быть может, ему вспомнились кое-какие маскарады, в которых он участвовал еще молодым адвокатом, быть может, вспомнилась молодая женщина-фотограф, писавшая письма в таком же стиле, как покойная, и впоследствии бесследно куда-то канувшая. Верно одно – что он широко расселся за письменным столом и сочинил молодой художнице сочную, ядовитую надгробную надпись, нечто вроде тех «мартирологов», какие можно было видеть на памятных досках по краям дорог в баварских горах. Он откинулся назад, перечел стихи, увидел, что они удались. Существовал тончайший, написанный нервами анализ творчества Анны Элизабет Гайдер, принадлежавший перу Мартина Крюгера. Но его, Маттеи, стихи ближе к баварской природе, в них сила молодых цепов. Он осклабился: стихи вытеснят анализ Крюгера, станут окончательной эпитафией умершей девушке.

Супруга придворного поставщика Дирмозера, прочтя отчет, почувствовала горькую обиду. Так, значит, для того чтобы ее муж мог присутствовать при чтении таких гадостей, ей приходится торчать в магазине на Терезиенштрассе, бросив на произвол судьбы маленького двухлетнего Пеппи! Без ее мужа им, видно, никак не обойтись! Без него, верно, провалилось бы все баварское государство! Она долго ругалась, от времени до времени озабоченно заглядывая к маленькому Пеппи, негоднику, не перестававшему орать, пока наконец, невзирая на запрещение врача, она, сжалившись, не влила ему в рот теплый напиток из пива и молока.

Полное, красивое лицо кассирши Ценци, когда она на работе в «Тиролер войнштубе» прочла этот судебный отчет, стало задумчивым, как иногда в кино, и она на несколько минут поручила заботу о посетителях своей помощнице Рези. Ценци хорошо знала обвиняемого Крюгера. Красивый, веселый господин, иногда грубовато флиртовавший с ней. Напрасно печатали в газете все бредни, которые писала ему покойница. Это были неприличные письма, таких вещей писать не полагается. Все же некоторые выражения произвели на нее впечатление. Там, в большом зале, нередко сживал молодой человек, некий Бенно Лехнер, сын антиквара Лехнера. Семейное положение: холост; профессия: электромонтер фирмы «Баварские автомобильные заводы». Но он, верно, недолго там удержится. Вообще он долго нигде не может удержаться: у него дерзкий, бунтарский нрав. Удивляться тут нечему: недаром он вечно торчит у этого «чужака», у этого противного Каспара Прекля. В тюрьме он тоже уже успел посидеть, этот Бени: проштрафился. Правда, по политическому делу – и все-таки тюрьма остается тюрьмой. Но несмотря на все эти недостатки, он очень ей нравился, и черт знает какое свинство, что он так мало внимания обращал на нее. Вот уж третий год, как ее произвели в старшие кельнерши, в кассирши и дали ей помощницу, Рези, которой она может командовать. Многие из посетителей большого зала и более дорогого – бокового – добивались возможности проводить с ней вечера в ее выходной день. Кавалеры из лучшего общества. Ей везло. Но кассирша Ценци берегла немногие свои свободные вечера для электромонтера Бенно Лехнера. А тот важничал, хоть и был всего-навсего сыном старьевщика Лехнера с Унтерангера, и заставлял долго просить себя, пока соглашался провести с ней вечер. Это был тяжелый крест. Зато у него была склонность к возвышенному, он был чувствителен к тонкостям, ко всяким фантазиям: возможно, что когда-нибудь удастся в письме к нему вернуть один из оборотов покойной художницы. Ценци аккуратно вырезала газетный отчет, положила его в альбом для стихов, наряду с изречениями и стихами ее друзей и знакомых в изобилии содержащий сентенции и автографы наиболее значительных и популярных людей из числа посетителей «Тиролер войнштубе».

Читал этот отчет, читал с легким отвращением и сознанием, что «иначе и быть не могло», и граф Ротенкамп, тот самый тихий господин, сидевший в своем горном замке далеко в юго-восточном уголке Баварии, часто ездивший в Рим, в Ватикан, и в Берхтесгаден к кронпринцу Максимилиану, самый богатый человек к югу от Дуная, бесшумный, боязливо сторонившийся всяких публичных выступлений и имевший огромное влияние на руководящую клерикальную партию. И сам кронпринц Максимилиан также читал отчет. Барон Рейндль, генеральный директор «Баварских автомобильных заводов», прозванный «Пятым евангелистом», благодаря своим связям с Рурским концерном – главный деятель баварской промышленности, также читал отчет. Он пробежал его без особого интереса. На мгновение у него мелькнула мысль позвонить главному редактору «Генеральланцейгера». Газета находилась в полной финансовой зависимости от Рейндля, и одного его слова было бы достаточно, чтобы судебный отчет получил совершенно иную окраску. Один из его инженеров, некий Каспар Прекль – смешной субъект, но способный, – в обычном для него дерзком тоне пытался просить барона вступить за Крюгера. Возможно, что барон Рейндль действительно вступился бы. Но он помнил, что этот самый Крюгер однажды за его спиной назвал его «трехпфенниговым Медичи». Он, Рейндль, конечно, не был злопамятен, но уж во всяком случае он не был и «трехпфенниговым Медичи». Разве не его щедрость сделала возможным приобретение картины «Иосиф и его братья»? Со стороны Крюгера это было несколько смело, а главное – как оказалось теперь – непрактично. Барон Рейндль вторично внимательно проглядел отчет; его лицо выражало наслаждение знатока. В редакцию он не позвонил.

Прочли этот отчет и присяжный оптимист – писатель Пфистерер, экономка Агнеса, владелец картинной галереи Новодный. С восторгом прочел, гордясь своим героем-отцом, сын шофера, юноша Людвиг Ратценбергер. Но не прочел отчета самый могущественный из пяти фактических властителей Баварии, доктор Бихлер. Он был слеп. В это утро он сидел в одной из

больших, низких, плохо проветренных комнат своего старинного нижебаварского помещичьего дома, который много поколений подряд строили, чинили и все вновь и вновь расширяли. Он ворчал и бранился, плохо выбритый, с узловатыми, иссиня-красными руками. Какой-то тайный советник, посланный министерством земледелия, робко пытался привлечь его внимание к своим словам. Тут же рядом стоял и секретарь Бихлера, держа в руках газеты и готовясь начать чтение вслух. Тучный, неуклюжий человек возбужденно выкрикивал какие-то сердитые обрывки фраз. Секретарю показалось, что он слышит имя Крюгера, и он принялся читать отчет о процессе. Доктор Бихлер поднялся. Секретарь бросился помогать ему, но доктор Бихлер с досадой оттолкнул его и ошупью побрел по комнатам. За ним, добиваясь быть услышанными, следовали тайный советник и секретарь.

## 14. Свидетельница Крайн и ее память

Свидетельница Иоганна Крайн читала отчет, полуоткрыв рот, так что обнажились ее крепкие, здоровые зубы. Она наморщила лоб, обрамленный темными волосами, вопреки моде тех лет зачесанными назад и стянутыми тугим узлом на затылке. Энергичной походкой спортсменки, сердито выталкивая через нос воздух и похрустывая пальцами своих крепких, грубоватых рук, она прошлась несколько раз по комнате, тесной для ее широких движений, и остановилась у телефона. После нескольких бесплодных попыток она дозвонилась наконец до канцелярии адвоката Гейера и, как, впрочем, и ожидала, услышала, что его нет.

Ее лицо с несколько крупным ртом и решительными серыми глазами так исказилось от досады, что на мгновение стало почти некрасивым. Брезгливо морща губы, она еще раз перечла отчет. Газетный лист, еще жирный от краски, издавал скверный запах. Удушливая страстность, исходившая от слов умершей, даже помимо всего личного, вызывала в ней чувство отвращения. Мартину не следовало так много времени уделять этой Гайдер. Неужели не противно быть объектом таких писем?

Она ясно помнила эту Гайдер, помнила, как та вместе с ней и Мартином сидела за столиком в «Минерве», танцзале Латинского квартала, вся съезжившись, посасывая соломинку своего коктейля, как потом во время танца, странно затуманенная, словно отдаваясь, она повисла на руке Мартина. Однажды Мартин спросил Иоганну, не согласится ли она сделать для этой девушки графологический анализ. Ее анализы – в то время она еще не занималась ими как профессией – пользовались большой популярностью в кругу ее знакомых. Но Гайдер поспешно, даже просто невежливо отклонила это предложение. Возможно, это был страх с ее стороны. Свойства людей переменчивы, как вода, – заявила она. В разных условиях и в своих отношениях с разными людьми человек бывает совершенно различным. Она ни за что не позволит закрепить за собой определенные качества.

Иоганна продолжала ходить взад и вперед по своей большой светлой комнате, убранной красивой практичной мебелью. Вокруг стояли полки книг и предметы, необходимые для ее профессии графолога, – огромный письменный стол и пишущая машинка. В зеркале она видела то светлый Изар, то бульвар, то широкую набережную. Да, эта дружба Мартина с покойной не могла окончиться добром. Она, Иоганна, должна была в свое время предостеречь Мартина. Наверно, и ему самому эта дружба давно была в тягость, но он всегда нуждался в толчке извне. Он старался избегать всего неприятного, старался и тут избежать сцен. Несомненно, это и было единственной причиной, по которой он не порвал с этой Гайдер.

Теперь уже не имело смысла огорчаться по этому поводу. Все это прошло и кончилось. Единственное, что оставалось делать сейчас, – это ждать, пока ей не удастся поговорить с адвокатом.

Разве не сегодня вечером обещала она дать анализ того женского почерка? Номер двести сорок семь? Да, да... Она сейчас же сядет за работу и через полчаса еще раз попытается созвониться с доктором Гейером. Она берет со стола газетный лист и аккуратно кладет его к уже прочитанным газетам. Вынимает образец почерка номер двести сорок семь, вставляет его в похожий на пульт для чтения аппарат, которым она обычно пользуется при своих анализах. Задергивает занавеси, включает лампу с рефлектором, и тогда линии написанных строк с почти пластической четкостью выделяются на светлом фоне бумаги. Она принимается расчленять линии почерка согласно остроумным методам, которым ее учили. Но она знает, что таким путем не создаст себе ясного представления о характере этого почерка. Да она и не делает настоящего усилия, чтобы сосредоточиться.

Нет, она вовсе не была обязана пытаться отдалить Мартина от этой Гайдер. Она не могла брать на себя обязанности гувернантки. Вообще глупо стремиться сделать человека иным, чем



он есть. Раньше, чем связать себя с человеком, нужно хорошо уяснить себе, кто он такой. Жаль все же, что у Мартина невозможно было нащупать твердую основу. Лучше всего он чувствовал себя в полумраке. Тогда он бывал откровенен без всякой утайки. В своей откровенности он доходил до того, что ей почти бесстыдством казалась его способность первому встречному рассказывать самые интимные, личные вещи. И все же его можно было разобрать по листочкам, словно луковку, и при этом не докопаться до твердой основы. Всякое решение он по возможности откладывал, хотя бы дела запутывались бог весть как. Так или иначе – все, мол, разрешится само собой. Так стоит ли мучить себя поисками решения?

За дверью слышались тяжелые шаги ее тетки, Франциски Аметсридер, жившей вместе с ней и занимавшейся ее хозяйством. Тетка, наверно, сейчас не удержится от весьма решительных суждений по поводу процесса, от сильных выражений по адресу Мартина Крюгера. Обычно Иоганна не обижалась на делано резкий тон тетки, дружески в ответ подшучивала над ней к обоюдному удовольствию. Но сегодня она не была в настроении обмениваться с теткой суждениями и выражениями чувств. Четко и звонко сквозь закрытую дверь она объявила, что занята работой, и тетка, обиженная и рассерженная, ретировалась.

Она снова пытается сосредоточиться на своем графологическом анализе. Она обещала сдать сегодня его результаты, и ей не хочется заставлять кого-то ждать ее. Но сегодня у нее решительно ничего не получается.

Да, больше всего радости она и Мартин доставляли друг другу во время путешествий. Беззаботный, юношески веселый, отдавался он всем впечатлениям, бурно восторгаясь благоприятной погодой и глубоко огорчаясь из-за недостатков каждой чересчур примитивной гостиницы. Она вспоминала вечера, когда они вместе, сидя в вестибюле какого-нибудь большого отеля, по лицам посетителей определяли их характер, профессию, судьбу. Мартин сочинял самые увлекательные, самые интересные жизнеописания этих людей, улавливая мельчайшие, скрытые где-то в уголках их лиц, детали. Но в общем его характеристики очень часто оказывались ошибочными. Удивительно, как этот человек, столь глубоко умевший вникать в картины, так слабо на практике разбирался в психологии людей.

Как умел он углубляться во все, что касалось искусства! Наблюдать за тем, как он весь, целиком преображаясь, уходил в созерцание предметов искусства, – было прекрасно и радостно. Ей нравилась картина, она производила на нее впечатление. Но то, что человек, за минуту до того, казалось бы, безалаберный и капризный, вдруг мгновенно проникался благоговением, словно потушив в себе личное ради искусства, – вот это чудо вновь и вновь восхищало ее.

Доктор Гейер, вероятно, прав, считая, что ей лучше в эти дни не встречаться с ним. Но это дается ей нелегко. Ей хотелось бы погладить его по щеке, подергать за густые брови. Она и этот тщеславный, веселый, темпераментный, живой в восприятии искусства, щегольской в своей одежде человек – они подходили друг к другу.

Резким движением она поднялась, раскрыла жалюзи, отставила в сторону свою графологию. Немыслимо было сидеть вот так, в бездействии. Она снова позвонила Гейеру, в этот раз на квартиру. В аппарате слышался сиплый нервный голос экономки Агнесы. Нет, она не знает, где можно застать доктора Гейера. Но раз уж фрейлейн Крайн у аппарата, она очень просит ее хоть немножко заняться господином доктором. Ее, экономку, он вовсе не слушает. Прямо беда с этим человеком! Еду он просто проглатывает безо всякого внимания. Плохо спит. Совершенно не следит за своей одеждой. Просто срам! У него ведь никого нет из близких. Если фрейлейн Крайн скажет ему, – может быть, это подействует.

Иоганна нетерпеливо ответила полусогласием. Все люди чего-то требовали от нее. У нее – видит бог – есть другие заботы, кроме платья доктора Гейера.

Но всегда, с самого ее детства бывало именно так. Уже тогда, после развода родителей, когда ее, еще полурбенка, перебрасывали от одного из родителей к другому. Отец, погружен-

ный в работу, замкнутый, ждал от нее, что она, несмотря на его нерегулярный образ жизни, сумеет держать в порядке хозяйство, и устраивал скандалы, когда что-нибудь случайно не ладилось. Еще подростком она принуждена была заботиться о новом кредите у поставщиков, об удобствах для неожиданно появлявшихся гостей, должна была вести хозяйство применительно к постоянно менявшемуся финансовому положению отца. Когда она жила у матери, ей приходилось исполнять все тяжелые и неприятные обязанности, так как мать, обожавшая болтовню и сплетни с приятельницами за чашкой кофе, оставляла за собой право на сетования, предоставляя всю работу дочери. Позднее, когда после смерти отца она окончательно поссорилась с матерью, вышедшей вторично замуж, все ее знакомые, даже отдаленные, всегда считали своим правом пользоваться ее услугами и любезностью и в самых неожиданных случаях обращались к ней за помощью и советом.

То, что именно здесь, где она действительно была нужна, то, что она в деле Крюгера оказалась бессильной, – злило ее сейчас до бешенства. Теперь она знала, что совершила ошибку, своевременно энергично не позаботившись о нем. Ее теория о необходимости полной самостоятельности каждого человека, нарушать которую без просьбы другого нельзя, была чересчур удобной отговоркой. Когда связываешь себя с человеком, как она с Мартином, зная, что он собою представляет, надо принять на себя и ответственность за него.

Опираясь подбородком на короткую грубоватую руку, Иоганна сидела за столом, вспоминая Мартина тех дней и часов, которые вызывали в ней наибольшее восхищение. Вспоминала, например, как однажды они вместе были в маленьком медлительном городке со старинной чудесной картинной галереей, которую Мартин собирался опустошить в пользу Мюнхенского музея. С каким превосходством и убедительностью обошел он недоверчивых провинциальных ученых, навязав им всякую старую мазню, от которой ему хотелось освободить свой Мюнхенский музей, и выманив у них своей болтовней лучшие вещи из их собрания! Когда затем, после длительных переговоров, трудный обмен был окончательно решен, Мартин имел еще дерзость, ей и себе на потеху, поставить условие, чтобы магистрат достойным образом отблагодарил его за труды по пополнению городской галереи и устроил в его честь банкет. Она сидела, опираясь подбородком на руку, склонив здоровое лицо свое с коротким тупым носом. Она ясно видела перед собой лицо Мартина, с лукавой серьезностью слушающего тягучую заздравную речь, произносимую в его честь бургомистром.

Затем вдруг она оказывалась с Мартином в Тироле. Рядом с ними в купе сидел педантичный англосакс, уткнувшийся носом в путеводитель, близоруко ворочавший головой из стороны в сторону и никак не умевший разобраться, с какой, собственно, стороны находятся те или иные упомянутые в путеводителе красоты природы. Мартин все время, к великому удовольствию пассажиров, с самым серьезным видом снабжал чудака неверными сведениями, остроумно и находчиво устраняя все его сомнения, незначительные холмики выдавая ему за знаменитые горные вершины, крестьянские дворы – за развалины замка. А раз, когда поезд проезжал какой-то городок, он даже уверил бедного иностранца, что колонна со статуей мадонны – памятник национальному герою.

Все до мелочей помнила она. О да, она умела все вспоминать до мелочей. Уважать старые традиции – святость присяги, ответственность перед обществом и тому подобное – все это прекрасно. Но она сыта уже этим по горло и намерена ссылаться на свою хорошую память. Она точно помнит – это было в два часа ночи, – когда Мартин в ту ночь пришел к ней. Почему она помнит это с такой точностью? Да потому, что они первоначально сговорились на следующий день совершить прогулку в горы. Но Мартин настоял на том, чтобы отправиться на вечеринку. Они поссорились по этому поводу. Затем Мартин все же неожиданно явился к ней. Разбудил ее. Разве не вполне естественно, что она взглянула на часы и точно запомнила время? Да, так оно и было; так оно звучит вполне правдоподобно. Если у шофера Ратценбергера есть все основания иметь хорошую память, то и у нее есть не менее ценные основания для того

же самого. Да, именно так все и происходило. Так она будет показывать под присягой, и чем скорее, тем лучше.

Она не знает, спал ли Мартин с умершей девушкой. Она этому не верит; она никогда не говорила с ним об этом, это ее не интересует. Но одно она знает, это подсказывает ей человеческий здравый смысл: нехорошо, чтобы человек пробыл больше одной ночи под тяжестью таких обвинений, как те, которые вытекают из писем и дневников Гайдер. Она начнет действовать. Изыщет способ противодействовать. Опровергнет, опираясь на неоспоримые доказательства.

Она снова позвонила, застала доктора Гейера дома. Сказала ему быстро и решительно, что она снова проверила свои воспоминания, помнит сейчас все, во всех подробностях. Хочет дать показания. Завтра. Возможно скорее. Доктор Гейер ответил, что по телефону говорить об этом не считает удобным и будет ждать ее у себя через час.

Через час. Она пойдет пешком. Но даже и так у нее до ухода остается достаточно времени.

Если она не может увидеть Мартина, то у нее есть хоть его письма. Она подошла к шкапу, где они лежали, – множество писем из разных городов, проникнутых разным настроением, написанных при различных обстоятельствах. Мартин писал легко и не задумываясь, как мало кто в то загруженное делами время. Письма были совсем разные. Одни – деловые, сухие, другие – полные молодого лукавства, самых неожиданных остроумных выходов. Затем вдруг длинные, импульсивные рассуждения о картинах, о вопросах его специальности, – все это без всякого отбора, полное противоречий.

Да, вот лежали его письма, сложенные в порядке, тщательно сохранявшиеся. Не попадут ли и его письма в одну из ее папок? – спросил однажды Мартин, подшучивая над ее страстью к порядку. Она вынула один из листков, взглянула на быстрый, крупный, странно нежный почерк. Но очень скоро отвела взгляд решительных серых глаз. Положила листок на место.

В своем уютном кабинете доктор Гейер сухо указал ей, что ее хорошая память в этой стране довольно опасная вещь. Гораздо вероятнее, что привлекут к ответственности за лжеприсягу ее, чем шофера Ратценбергера. Лицо Иоганны оставалось спокойным. Над переносицей прорезались три бороздки. Зачем он все это говорит ей? – спросила она Гейера. – Неужели он полагает, что это производит на нее впечатление? – Он считает себя обязанным указать ей на возможные последствия ее выступления, – ответил он сухо. Она, так же сухо, поблагодарила его за добрые намерения. И ушла, улыбаясь.

Улыбаясь, направилась она кружным путем, через Английский сад, домой. Шла, напевая сквозь зубы, почти неслышно, мелодию из старинной оперы, повторяя все те же несколько тактов. Прекрасный, обширный парк замер в вечерней прохладе и покое. Кругом бродило много влюбленных парочек. Пожилые люди также, после раннего ужина, наслаждались здесь вечерней прохладой. Они сидели на скамейках, болтали, курили, спокойно читали подробные газетные отчеты о любви покойной «чужачки» к Мартину Крюгеру.

## 15. Господин Гессрейтер ужинает у Штарнбергского озера

По той же дороге, по которой накануне проезжал министр Кленк, ехал на следующий день вечером коммерции советник Пауль Гессрейтер. Он ехал со своей приятельницей Катариной фон Радольной. Обычно он большую часть лета проводил в ее прекрасном поместье Луитпольдсбрунн на берегу Штарнбергского озера.

Г-н Гессрейтер правил автомобилем – той самой новой американской машиной, которую приобрел три недели назад. После отвратительного дня, проведенного в суде, было особенно приятно ехать так, во мгле, по широкой дороге сквозь редкий лес. Фары машины выделяли из темноты небольшие секторы дороги и ландшафта. Г-н Гессрейтер ехал с умеренной быстротой, наслаждаясь наступившей прохладой и уютной близостью Катарины. Из всех женщин, которыми он, один из пяти бонвиванов города Мюнхена, когда-либо обладал, она была ему больше всех по сердцу. Они не были женаты. Катарина соединяла в себе все прелести любовницы и супруги.

Они сидели друг подле друга, вели ленивую беседу, часто прерываемую молчанием. Предметом разговора был, конечно, процесс Крюгера. Да, – заметил г-н Гессрейтер, – достаточно неприятно участвовать в этом процессе в качестве присяжного, в известной мере – судьи. Однако в присутствии Катарины он счел нужным напустить на себя известный цинизм, практичность и самоуверенность. Ведь в конце концов он деловой человек. Легко могло случиться, что, откажись он от исполнения своей гражданской обязанности, нашлись бы влиятельные лица, которые стали бы выписывать керамику из других мест. Впрочем, нельзя отрицать, что вся эта история в целом очень интересна. Ну, хотя бы эти письма покойницы, которые были прочитаны сегодня. Правда, они достаточно неаппетитны. Просто непонятно, как мужчина может иметь дело с такой изломанной, сумасбродной женщиной. И все же это, без сомнения, представляло интерес. Почему, собственно, Катарина никогда не приходит на заседания суда? Там были г-жа фон Бальтазар, сестра барона Рейндля, артистка Клере Гольц.

Он сидел за рулем, осторожно правил бесшумной, послушной машиной. Была чудная ночь. Они проехали местечко Штарнберг. На берегу озера было много людей, но ночь поглощала все звуки, все казалось погруженным в тишину. По озеру скользил освещенный пароход.

Нет, Катарина не испытывала ни малейшего желания присутствовать на этих судебных заседаниях. Ее грудной голос зазвучал около него, полный самоуверенной лени, всегда вновь и вновь волновавшей его. Политика не привлекала Катарину. От всех этих господ, после революции оказавшихся причастными к политике, пахло, по ее мнению, чем-то затхлым. Охота на Крюгера ей не нравилась. Это имело привкус прокисшего молока. Было просто неприятно представить себе, в какое ложное положение можно было попасть из-за этой дурацкой политики. На каждом шагу мужчинам под присягой, в присутствии судей и газетчиков, приходилось показывать, с какими женщинами они состояли в связи. А ведь до этого никому не было дела, и это не могло иметь никакого значения для управления государством.

Красивая, пышная женщина говорила все это спокойным низким голосом, таявшим в ночном мраке. Г-н Гессрейтер сбоку поглядел на нее. Нет, она не улыбалась. Должно быть, она сейчас и не вспомнила о том, что и он в свое время, в связи с требованием о разводе ныне благополучно скончавшегося г-на фон Радольного, под присягой показал, что не состоял с ней в близких отношениях. Не колеблясь ни секунды, без малейших угрызений совести дал он это показание. Разве не был г-н фон Радольный, женившийся на Катарине после ее многолетней дружбы с принцем Альбрехтом, весьма покладистым человеком, вполне удовлетворившимся видным местом, предоставленным ему по случаю его брака баварским двором? Если он вдруг сделался несносным, стал устраивать сцены, требовать развода – разве не было вполне естественно при таких условиях, что г-н Гессрейтер вступился за свою прекрасную подругу?

Сейчас г-н фон Радольный уже умер, и Катарина унаследовала от него значительное состояние. Как хорошо, что она тогда так энергично боролась против развода! При помощи денег покойного она привела в порядок свое прекрасное поместье Луитпольдсбрунн, преподнесенное ей принцем Альбрехтом при расставании. На доходы с имения и на ренту, получаемую ею от Управления имуществом бывшего баварского королевского дома, она может вести жизнь женщины большого света. Хозяйство в ее поместье поставлено образцово, ее охотно принимают при бывшем дворе, особенно у претендента на престол, бывшего кронпринца Максимилиана. Ее дружба с Гессрейтером покоится на крепком основании, она путешествует, проявляет благосклонный интерес к вопросам искусства. То, что она сказала о процессе Крюгера, было умно, понятно, соответствовало ее положению и характеру. Гессрейтер, разумеется, не настолько бестактен, чтобы в разговоре провести параллель между своей присягой во время тогдашнего процесса о разводе и делом Крюгера. Все же он мимоходом подчеркивает, что только такому далекому от реальной жизни «чужаку», как Крюгер, могли решиться навязать на шею подобный процесс. Рыцарская присяга, при которой мужчина отрицает свою близость к женщине, стала чистой формальностью. Каждый судья отлично знает это. Все это похоже на то, как люди говорят «здравствуйте» тому, кому вовсе не желают здоровья, и никто такую присягу не принимает всерьез. Но нельзя, конечно, подавать прямой повод для обвинений прокурора, как это сделал Крюгер, ибо брак должен находиться под защитой закона. Г-жа Радольная молчала, поэтому немного погодя он добавил, что, в сущности, он не большой знаток социальных вопросов. Но семью он считает основной ячейкой государства, и брак, следовательно, так же невозможно упразднить, как, скажем, религию. Но обязательства брак, разумеется, налагает только на массу, а не на высокопоставленного индивидуума.

Так подробно г-н Гессрейтер редко высказывался о вопросах общественной морали. Катарина искоса поглядывала на него. Обычно в периоды его патриотически-мюнхенских настроений он начинал длиннее отпускать на висках волосы, переходившие в бачки, какие носили в этих краях. Во время путешествий и вообще когда он ощущал себя космополитом, он подстригал бачки короче. Сегодня, как и всегда в последнее время, бачки низко спускались по его мясистым щекам. Так что же такое с ним происходило? Она немного помолчала. Решилась наконец отнестись к его вспышке как к проявлению легкого нездоровья и заметила, прекращая этим самым разговор, что, по ее мнению, неправильно лишать Крюгера возможности уехать в это лето на берег моря или в горы, тогда как она, например, и г-н Гессрейтер катаются сейчас по берегу Штарнбергского озера. Красивая, видная женщина пригладила медно-красные волосы, выбившиеся из-под автомобильной шапочки. Карие глаза на красивом лице с полными губами и мясистым носом спокойно глядели в скользившую мимо ночь.

На озере в лодках распевали песни. Г-н Гессрейтер, раскаиваясь, что пустился в рассуждения, видимо не интересовавшие его подругу, переменял тему разговора. Он заметил, что вода явно стимулирует людей к эстетической деятельности. Он сам, сидя в ванне, часто испытывает непреодолимое желание петь.

Остаток пути они провели в молчании. В глубине души г-н Гессрейтер считал свою подругу более умной, практичной и лучше знающей свет, чем он сам. Но сегодня он втайне чувствовал свое превосходство. Однажды, ради забавы, он дал графологу Иоганне Крайн проанализировать ее почерк. Его немного мучила при этом совесть: это было как-то не совсем корректно, казалось нескромным испытывать близкого человека, да еще при помощи третьего лица. Но затем он все же остался доволен, так как результат анализа в вежливых выражениях подтвердил то, что он и без того знал. А именно, что Катарина, обладая практическим умом, была лишена романтизма, чужда всяких полетов фантазии. Она не понимала и даже не одобряла его склонности заглядывать в бездны бытия, сохранять при всем своем видимом спокойствии и размеренности жизни некоторые не совсем обычные взгляды и убеждения. То, что он обладал перед ней этим преимуществом, наполняло его мужской гордостью. Как удивилась бы

Катарина, узнав о тайном приобретении картины – поступке, в котором он хитро и смело проявил себя перед собой и светом человеком, лишенным предрассудков, настоящим европейцем! Он ясно представлял себе ее удивление. «Вот погляди-ка!» – думал он, довольно улыбаясь, мягко, в бесшумном автомобиле везя подругу по окутанной мраком дороге.

Приехав в Луитпольдсбрунн, они застали там г-на Пфаундлера, вилла которого находилась поблизости. Он нередко заглядывал сюда по вечерам. Г-жа фон Радольная охотно встречалась с этим предприимчивым человеком. Кельнер, затем владелец ресторана, Алоис Пфаундлер во время войны занимался поставками мяса для армии. Получив таким образом возможность подавать посетителям своих шикарных ресторанов, несмотря на строгое рационирование съестных продуктов в Германии того времени, самые изысканные мясные блюда, за которые благодаря их редкости щедро платили, г-н Пфаундлер быстро нажил большие деньги. Свои капиталы он вложил в целый ряд увеселительных заведений, театров, варьете и кабаре не только в Германии, но и в пограничных странах. Он, бесспорно, был самым крупным предпринимателем в этой области во всей Южной Германии. Он мог бы спокойно наслаждаться своим могуществом, если бы не желание содержать непременно в своем родном Мюнхене большие увеселительные заведения и поставить их на широкую ногу. Он владел самым шикарным варьете в Мюнхене, прекрасно организованным кабаре и двумя первоклассными ресторанами. В это лето он собирался пустить в ход большое купальное заведение на берегу озера. Хитрый и умный делец, он, разумеется, знал, что подобные предприятия не имеют больших шансов на успех в таком полукрестьянском городе, как Мюнхен. Ведь если город до войны славился как одно из первых в Германии лечебных и увеселительных мест, то теперь мещанская внутренняя политика нового баварского правительства отпугнула всех приезжих. Пфаундлер между тем убеждал самого себя, что миссия Мюнхена, как единственного более или менее крупного города в центре области, заселенной почти исключительно крестьянами, состоит именно в том, чтобы совершенно отличаться от остальной части Баварии. Земледельцы, приезжая в Мюнхен, стремились найти здесь, по его мнению, городские увеселения, контрастирующие с их повседневной обстановкой. Поэтому он и вбил себе в голову поднять на должную высоту увеселительную промышленность родного города. Возможно, что руководило им также и инстинктивное влечение ко всему декоративному, театральному, время от времени просыпавшееся в душе любого из жителей Баварской возвышенности. Мюнхенские народные празднества, в которых он мальчиком с восторгом участвовал, ежегодно повторявшиеся и сопровождавшиеся оглушительным шумом гулянья на городском лугу, народные маскарады, постановки вагнеровских опер под открытым небом, стрелковые праздники, пышные процессии в День Тела Господня, карнавалы в Немецком театре, веселые пивные оргии в гигантских залах больших ресторанов – все эти шумные торжества оставили в его душе неизгладимый след. Он хотел сам организовать такие увеселения и зрелища, усилив их выразительность с помощью новейшей техники, сделать шум еще более шумным, опьянение – пьянее, блеск – более блестящим. С чисто крестьянской настойчивостью он вкладывал деньги, получаемые от удовлетворения потребности в увеселениях всей остальной Германии, в эти вновь и вновь терпевшие крушение мюнхенские опыты.

Г-жа фон Радольная с несвойственным ей оживлением протянула г-ну Пфаундлеру свою большую белую руку. Начало ее карьеры было не вполне ясно, она никогда не упоминала о нем. Во всяком случае, она очень охотно беседовала о вопросах, связанных с варьете и кабаре, проявляла удивительное знание технических выражений в этой области и была, в осторожных пределах, финансово заинтересована в некоторых предприятиях г-на Пфаундлера.

За ужином на прекрасной, расположенной над самым озером террасе г-жа фон Радольная с видимым интересом беседовала с тучным, неуклюжим Пфаундлером. Ее немного грубоватый звучный голос смешивался с его высоким, жирным голосом. Тяжеловесный толстяк, бледный, с крохотными, хитрыми, мышинными глазками под шишковатым лбом, не знал хоро-

шенько, как отнестись к процессу Крюгера. Вполне понятно, что такой дикий способ публичного обнюхивания постельного белья искусствоведа с большим именем повредит репутации города Мюнхена, из которого и без того ослиные мероприятия правительства заставили с отвращением бежать всех приезжих и хоть сколько-нибудь крупных интеллигентов. Следовало бы кому-нибудь вмешаться, сыграть этим правящим болванам прощальный марш. Это должен быть обязательно кто-нибудь из промышленности. Он, Пфаундлер, знает, кто, если бы только захотел, мог бы что-нибудь путное сделать из Мюнхена, – господин фон Рейндль. К сожалению, однако, Рейндль втайне, из-за своей связи с Рурским концерном, держит сторону Пруссии, а все баварское, несмотря на его федералистскую болтовню, интересует его как прошлогодний снег. Как только было упомянуто имя Рейндля, г-н Гессрейтер стал мрачен. Рейндль втайне был для него постоянным немим укором. Он превосходил Гессрейтера состоянием, значением в промышленности и обществе, превосходил своими качествами бонвивана.

Он вскользь подумал о своем керамическом заводе и о том, что там в художественном отделе снова в первую голову заняты выделкой групп Пьеро и Коломбины. «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» первоначально выпускала предметы домашнего потребления, и прежде всего посуду. Большая часть баварцев, живших к югу от Дуная, ела из блюд, тарелок и мисок этой фирмы и опорожнялась в ее фабрикаты. Особенными симпатиями пользовался один из дешевых синих узоров: горчанка и эдельвейс. Еще отец Пауля Гессрейтера присоединил к заводу художественное отделение. Но оно не приобрело особенного значения. Широко поставленный опыт выпуска на рынок художественных пивных кружек закончился чувствительной неудачей. За последнее время, однако, это художественное отделение стало расширяться. Германские деньги потеряли значительно в ценности, доллар стоил уже шестьдесят пять марок. Рабочая сила в Германии обходилась дешево и давала предпринимателям возможность совершать выгодные сделки с границей. Гессрейтеровские заводы временно перестроились в этом направлении. За границей успехом стала пользоваться прежде всего продукция художественного отделения. Гигантские мухоморы, бородатые гномы и т. п. наводнили весь мир. Эти произведения его заводов не нравились г-ну Гессрейтеру, но что поделать! Не уступать же было этого завода другим.

Заметив, что разговор о Рейндле г-ну Гессрейтеру неприятен, г-н Пфаундлер, все еще сохраняя озабоченный вид, спросил Катарину, не кончаются ли ее запасы «Форстера» марки 1911 года; он, во всяком случае, может предоставить ей еще пятьдесят бутылок. Затем он принялся излагать свои новые планы устройства грандиозного кабаре «Пудреница» в Гармише. Он уже в прошлом году занялся постановкой этого зимнего курорта на самую широкую ногу. Нынче Гармиш-Партенкирхен обещает стать самым модным зимним курортом в Германии. Он, Пфаундлер, и за границей, особенно в Америке, провел очень удачные подготовительные работы.

Катарина оживленно принялась расспрашивать о подробностях подготавливаемой им для кабаре программы увеселений. Да, Пфаундлер – неутомимый работник, он наметил уже довольно точный список номеров. Особенного успеха он ожидал от выступления неизвестной до сих пор в Германии русской танцовщицы Инсаровой, о которой он сообщил с весьма значительным и таинственным видом. Г-жа фон Радольная с полным знанием дела принялась разбирать качества перечисленных им артистов, вполголоса запела боевой номер одной из кабарежных звезд. Г-н Пфаундлер, со свойственным специалисту интересом, делал замечания, объяснял, что именно в исполнении этой артистки пропадает, что в номере особенно эффектно. Он попросил Катарину повторить песенку. Полная, красивая женщина, не ломаясь, исполнила его просьбу. Своим звучным голосом она пропела слащаво-сальные куплеты, вынуждая свои массивные члены к соответствующим дразнящим ужимкам и подергиваниям. В глазах г-на Пфаундлера загорелись искорки вожделения. Он был чрезвычайно увлечен и с оживлением заявил, что именно ее полнота и придает куплетам особую прелесть. С горячно-

стью заспорили о некоторых оттенках. Проверили свои впечатления, сравнив с граммофонной пластинкой. Г-н Гессрейтер слушал молча. Он глядел на две огромные вазы, украшавшие балюстраду террасы со стороны озера. Здесь, в Луитпольдсбрунне, имении его подруги, всюду, и в доме и в парке, были разбросаны произведения его керамиковой фабрики: частью огромные фигуры, частью мелкие вещицы. Как странно, что г-жа фон Радольная за все время их длительной связи ни разу не поинтересовалась, почему в его собственном доме на Зеештрассе нет ни одного предмета, произведенного на его заводе.

Исполняя эстрадный номер, г-жа фон Радольная, видимо, чувствовала себя прекрасно, хотя сопровождавшие пение движения и жесты и производили при ее полноте несколько странное впечатление. Когда вошла горничная убрать со стола, г-жу фон Радольную это несколько не смутило. Напротив, ей, видимо, было приятно, что девушка нарочно замешкалась в комнате, чтобы послушать.

Г-ну Гессрейтеру, обычно очень любившему эти ужины на террасе над озером, на этот раз было не по себе. Озеро мирно покоилось в свете луны, приятный ветерок скользил сквозь ветви деревьев, неся с собой бодрящий запах полей и лесов. Жареные сижки были нежны, вино ароматно и хорошо охлаждено. Катарина, крупная, хорошо одетая, соблазнительная, сидела рядом с ним. Г-н Пфаундлер, бывалый человек, умел хорошо сопоставлять жизнь Мюнхена с жизнью мировых центров. Обычно в такие вечера Гессрейтер испытывал чувство спокойного, лишенного желаний довольства, отпускал сочные, часто двусмысленные остроты. Но сегодня он как-то вдруг стал молчалив и, в сущности, был рад, когда г-н Пфаундлер наконец отключился.

В то время как шум его удалявшегося экипажа еще доносился сквозь ночную тишину, г-н Гессрейтер и Катарина продолжали сидеть вместе на террасе. Медленно попыхивая сигарой, Гессрейтер заметил, что таким, как Пфаундлер, хорошо: человек с головой ушел в свою работу, и благодаря ему и вокруг него что-то делается. А что делает он, Гессрейтер? Раз в две недели заходит на фабрику, которая и без него идет так же хорошо, и смотрит, как там производят ту же пошлятину, что и десятки лет назад. Его коллекцию мюнхенской старины тоже может продолжать кто угодно. Г-жа фон Радольная молча глядела на своего взволнованного друга, выразительно размахивавшего руками, на его традиционно-баварские выхоленные бачки. Затем, поднявшись, завела граммофон, поставила одну за другой две его любимые пластинки. Спросила его, не хочет ли он вина. Он, поблагодарив, отказался. Сигара была докурена, он досадливо пофыркивал носом. Г-жа фон Радольная подумала, что не следует людям слишком много времени проводить вместе. В ближайшие дни она уедет в Зальцбург. Оттуда близко до Берхтесгадена, до юго-восточного уголка Баварии, где сейчас живут ее друзья из придворных кругов. Да и с претендентом на престол она охотно повидается; ему – она знала это – нравилась ее спокойная рассудительность, и она со своей стороны очень ценила его.

На следующий день, когда она спустилась к завтраку, оказалось, что г-н Гессрейтер уже выкупался в озере и уехал в город на заседание суда. Проезжая через Одеонсплац, он заметил, что у Галереи полководцев опять высятся леса. Он вспомнил, что читал о новых уродах, которых там предполагалось водрузить. Решил в ближайшем будущем выпустить ряд керамических фигур по моделям молодого, еще никому не известного скульптора, сулившим мало коммерческих выгод, но казавшимся ему художественно ценными. Особенно – группа «Бой быков», к которой господа из заводской администрации относились с пренебрежением, называя ее «дикой» и «сумасбродной».



## 16. Обнюхивают спальню

Свидетельница Иоганна Крайн родилась в Мюнхене. Возраст – двадцать четыре года. Баварская подданная, евангелического вероисповедания. Девица. Ее смуглое, бледное лицо, в то время как она давала показания, застыло в напряжении. Она нисколько не старалась скрыть свое сильное волнение. Ее серые глаза под темными ресницами горели негодованием; широкий лоб был гневно нахмурен.

Крюгер глядел на нее с двойственным чувством. Разумеется, полезно, что в это призрачное средневековое судебное действо наконец вмешался разумный человек. Все же было неприятно сознавать, что по его вине эта девушка станет предметом дурацких пересудов всей страны. Даже и не признавая атавистических рыцарских предрассудков, все же приличнее было бы отказаться от такой жертвы. Он и пытался сделать это. Но сегодня, при ярком дневном свете, ему казалось, что он должен был сделать это решительнее.

Он давно не видел Иоганну. Когда она сейчас выступила, в кремовом, хорошо сидевшем на ней платье, она показалась ему олицетворением здравого смысла, выступающего здесь, чтобы вырвать его из лап тупого, мещанского фанатизма.

Подобное же чувство охватило многих из присутствовавших мужчин, когда эта гневная женщина выступила перед судьями. Полуоткрыв пухлые губы, с чуть глуповатым выражением на полном лице, широко раскрытыми, уже не затянутыми поволокой глазами глядел на нее элегантный г-н Гессрейтер. Так, так! Значит, вот эта самая Иоганна Крайн, которой он однажды отдавал для анализа образцы почерка Катарины, была подругой Крюгера. В тот раз, когда он имел с ней дело по поводу этого анализа, она очень понравилась ему. Она нравилась ему и сейчас. Он вспомнил письма Гайдер, мысленно сравнил девицу Анну Элизабет Гайдер с девицей Иоганной Крайн. Не мог понять Крюгера. Решил, что тот глуп, некультурен, антипатичен. Настойчивым, ясным взглядом из-за толстых стекол очков не отрываясь глядел на свидетельницу адвокат доктор Гейер, и тонкая кожа его лица то краснела, то бледнела. Видя ее такой взволнованной, он почувствовал неуверенность в результатах этого выступления, с другой же стороны, он возлагал надежды на впечатление, производимое на присяжных ее неподдельным гневом. На скамьях репортеров произошло движение. Сухой, торжествующий тон, которым доктор Гейер потребовал вызова этой свидетельницы, обещал интересный оборот в ходе процесса. Оставалось только по-журналистски максимально использовать ее показания. Рисовальщики работали с напряжением, стараясь возможно эффектнее запечатлеть недюжинное лицо, широкий лоб, короткий нос, полный рот, всю гневную позу женщины. Какой-то профессиональный скептик давал пояснения: эта стройная дама существует якобы своими графологическими анализами. Такие анализы у нее заказывают почти исключительно мужчины, и большой вопрос, оплачивают ли они при этом именно ее профессиональные знания.

Крайне неприятно задел был неожиданным появлением свидетельницы прокурор. Вряд ли он сможет повлиять на эту женщину с ясным и гневным взором в таком духе, как это нужно было баварскому правительству, вряд ли смогут произвести на нее впечатление его умно поставленные вопросы, вряд ли он склонит ее на свою сторону в вопросе виновности подсудимого. По-видимому, уже благодаря своей привлекательности она успела завоевать симпатии зала еще до того, как раскрыла рот. Кроме того, нельзя было отрицать, что защитник доктор Гейер сумел выбрать подходящий с психологической точки зрения момент.

Председательствующий, ландесгерихтсдиректор Гартль впервые за все время процесса проявил некоторое беспокойство. Он несколько раз высморкался, что побудило присяжного Лехнера со своей стороны еще чаще вытаскивать свой пестрый платок. Председательствующий снял берет, вытер пот с лысины, чего он, несмотря на жару, еще ни разу не делал.

Неожиданное выступление свидетельницы внесло в до сих пор так гладко протекающий процесс известную шероховатость, открыло перед честолубивым чиновником возможность показать свои способности в сложной обстановке: нужно было не чинить препятствий защите обвиняемого, не ставя в то же время под угрозу и обвинительный приговор.

Свидетельница Крайн показала следующее: обвиняемый, доктор Крюгер, был ее другом. «Что это значит?» На этот раз защита потребовала закрытия дверей. Но так как председатель в большой аудитории видел средство, могущее стеснить нежелательную свидетельницу, требование было отклонено. Иоганна Крайн должна была давать показания публично. – Желает ли она сказать, что состояла с обвиняемым в интимной связи? – Да. – Что же она знает о событиях той ночи, когда доктор Крюгер был на вечеринке в доме по Виденмайерштрассе? – В ту ночь доктор Крюгер приходил к ней. – Лица присяжных одним резким движением, словно притянутые, повернулись к свидетельнице. Даже на тупом лице почтальона Кортези отразилось напряженное внимание. Мягкий рот учителя гимназии Фейхтингера, окруженный волнистой черной бородкой, округлился весьма неприятным для прокурора удивлением. Обеспокоенный сенсацией, которую явно производили показания свидетельницы, прокурор спросил, помнит ли она точно время, когда Крюгер явился к ней. Прерывистое, громкое, напряженное дыхание сидящих в зале. – Да, – четко ответила Иоганна Крайн, – она помнит. Это было в два часа ночи.

В душном, переполненном людьми зале стало совсем тихо. – Каким образом, – несколько охрипшим голосом спросил прокурор, – она могла настолько точно запомнить час? – Со спокойной уверенностью, не чересчур сухо и не чересчур обстоятельно, свидетельница Крайн рассказала историю о предполагавшейся прогулке в горы. Как Мартин вначале не хотел ехать с ней, затем, видимо раскаиваясь, уехал с вечеринки, ночью явился к ней и разбудил ее. Вполне естественно, что тут ее первый взгляд был брошен на часы. Она и Крюгер потом, разумеется, еще долго обсуждали вопрос о поездке: ведь если человека будят в два часа ночи, то нелегко затем подняться в половине пятого. Крюгер слушал внимательно, он сам готов был поверить тому, что она рассказывала.

Сейчас, – закончила свидетельница Крайн свои объяснения, – она очень жалеет, что не отправилась в тот день с Крюгером на вечеринку, тогда не было бы всего этого процесса. – Эти последние слова свидетельницы были – как «к делу не относящиеся» – прерваны строгим замечанием доктора Гартля.

Пока продолжался допрос свидетельницы Крайн, по требованию прокурора послали за шофером Ратценбергером, чтобы устроить ему очную ставку со свидетельницей. Допрос между тем продолжался все с той же остротой и настойчивостью. Прежде всего ее спросили, имели ли место и в ту ночь, с 23-го на 24-е, между ней и обвиняемым интимные отношения. Снова доктор Гейер потребовал закрытия дверей, и снова требование его было отклонено. Упрямо, четко, сильно побледнев, Иоганна, невольно перейдя на местный диалект, заявила, что – да, и в ту ночь она принадлежала Мартину. Каждое ее слово, малейшее ее движение были проникнуты силой и прямолинейностью. Она была исполнена неудержимой ярости против своих земляков. Учитель гимназии Фейхтингер испытывал буквально страх перед неукротимым, решительным взглядом ее серых глаз. Живет ли она одна, – спросили ее дальше, – и как могло случиться, что обвиняемый пробрался к ней никем не замеченный. Она ответила, что живет вместе со своей теткой Франциской Аметсридер, пожилой дамой, которая обычно рано укладывается спать. Занимаемые Иоганной комнаты находятся в стороне. Крюгер, имевший ключ от дверей, мог удобно и никем не замеченный попадать к ней. Улыбка соскользнула с лица ветреного присяжного фон Дельмайера. Он сочувственно кивал головой. Прокурор тут же мысленно решил прощупать поведение этой милой тетушки и проверить, не содержит ли оно элементов сводничества.

Знала ли свидетельница Крайн, – допытывался дальше прокурор, – что доктор Крюгер состоял в близких отношениях и с другими женщинами? – Да, она об этом знала. Это были

мимолетные связи, которые она прощала ему. – Это заявление произвело неблагоприятное впечатление. Прокурор счел нужным выразить удивление. – Но совершенно исключается, – продолжала Иоганна Крайн, – чтобы Крюгер прямо из спальни другой женщины явился к ней. – «Гм», – промычал прокурор. «Гм» и «н-ну», – промычали и другие. «Это совершенно исключается», – с силой и возбуждением повторила Иоганна. Председатель предложил ей быть сдержаннее. Рисовальщик «Берлинер иллюстрирте цейтунг» сделал эффектный набросок: Иоганна в гневе поворачивает свое широкое красивое лицо к грубому лицу прокурора. Всегда, глядя на человека, она поворачивалась к нему всем лицом. – На какие средства она существует? – пожелал узнать прокурор. – У нее, – заявила она, – есть небольшое личное состояние; кроме того, кое-какой доход дают ей и ее графологические исследования. Она не понимает, впрочем, какое отношение к делу имеет этот вопрос. Председатель доктор Гартль в третий раз мягко, но решительно призвал ее к порядку.

Получала ли она деньги от доктора Крюгера? – с раздражающей медлительностью продолжал допрашивать прокурор. Тут Мартин Крюгер, с мрачным, замкнутым лицом прислушивавшийся к последним вопросам прокурора, вышел из себя. Насторожились художники, но на этот раз только сотруднику «Лейпцигер иллюстрирте цейтунг» удалось запечатлеть выразительную позу Крюгера, в бешенстве взмахнувшего руками и уставившегося на прокурора своими выпуклыми серыми глазами из-под густых бровей. Прокурор с ироническим терпением выдержал этот яростный взгляд. Он не потребовал даже от председателя защиты. – Итак, – продолжал он невозмутимо, словно ничего не случилось, свой допрос, – итак, получала ли фрейлейн Крайн от обвиняемого подарки в виде денег или ценностей? – Да, – ответила свидетельница, – она несколько раз получала цветы, один раз корзинку со съестными продуктами, однажды – пару перчаток, получала и книги. – Придворный поставщик Дирмозер с интересом посмотрел на крепкую, детскую руку Иоганны. Во время приведения свидетельницы к присяге он с неодобрением отметил, что ей не пришлось снять перчаток, так как она пришла без них. Сейчас его отношение как к Иоганне, так и к Крюгеру утратило значительную долю своей враждебности. – Что касается денежной ценности этих подарков, – спокойно объяснил Крюгер, – то корзинка со съестными продуктами стоила, если он не ошибается, восемнадцать марок пятьдесят пфеннигов. Возможно, впрочем, что и двадцать две марки. Ввиду все продолжающегося падения денег он не может вспомнить это с точностью. – Председатель, сам слегка, хотя и принужденно, улыбаясь, выразил неодобрение по поводу неуместного оживления в зале. – Не выдвигалось ли когда-нибудь обвинение против Иоганны Крайн в шарлатанстве? – поинтересовался прокурор. – Нет, такого обвинения никогда не выдвигалось. – Защитник предложил предъявить отзывы экспертов, признававших графологические анализы свидетельницы научно ценными. Суд не пожелал ознакомиться с этими отзывами, считая это несущественным. В глубине души доктор Гартль злился на прокурора, который, по-видимому, от неожиданности утратил всякую способность логически рассуждать и перешел к грубой тактике. Свидетельница явно привлекала на свою сторону даже тех, кого вначале неодобрительно настроила ее чрезмерная смелость, и сейчас пользовалась всеобщей симпатией. К тому же она, все более волнуясь, говорила с резким местным, баварским выговором. Ее слова, вся ее манера держаться были таковы, что никому не могло прийти в голову заподозрить в ней приезжую, «чужачку».

Посвящал ли ее обвиняемый в подробности своих отношений с другими женщинами? – продолжал прокурор, оставаясь на явно ложном пути. – Нет, никогда она не спрашивала его, и никогда они на эту тему не говорили. Она знала об этих отношениях только в самых общих чертах. – Не может ли она, – продолжал прокурор, – сообщить что-нибудь в связи с письмами покойной девицы Гайдер; в частности, не осведомлена ли она об эротических привычках доктора Крюгера? – При этом вопросе по аудитории пронесся шепот неодобрения. Легкомысленный присяжный Дельмайер разразился неприятным козлиным смешком, вызвавшим взгляд

непримиримой ненависти со стороны доктора Гейера, после чего бледный молодой человек испуганно умолк, резко оборвав смех.

Но тут, тяжело дыша и широко взмахнув рукой, поднялся присяжный Гессрейтер. Эта смелая баварская девушка радовала его сердце. «Когда смелость в груди нарастает волной», – вспомнил он известные когда-то стихи баварского короля Людвига I, не зная хорошенько, отнести ли эти стихи к себе или к этой девушке. Он находил обращение с ней недостойным. Выпрямившись, он непривычно решительным тоном сказал, что считает себя вправе от лица всех присяжных заявить, что последний вопрос прокурора является совершенно излишним. Присяжный Каэтан Лехнер, антиквар, медленно, но решительно закивал головой, выражая свое согласие. Он с самого начала не одобрял обращения со свидетельницей Крайн. Так поступать не полагалось. Он вспомнил свою покойную жену Розу, в девичестве носившую фамилию Гюбер и служившую кассиршей. Он придерживался того принципиального мнения, что с женщиной нельзя обходиться так грубо, как обходится здесь прокурор. Он подумал и о своей дочери Анни, негоднице, о которой нельзя было знать, не попадет ли и она когда-нибудь в такое же положение, как эта Иоганна Крайн. С особым чувством он подумал о своем сыне Бени, которого люди когда-то посадили за решетку. Баварская юстиция сейчас не вызывала особого одобрения Каэтана Лехнера. Председатель тоном вежливого порицания заявил, что дело суда высказываться о допустимости того или иного вопроса. Свидетельница Крайн заметила, что вопрос ей непонятен. Прокурор ответил, что этого с него достаточно.

При очной ставке между шофером и Иоганной Крайн Франц Ксавер Ратценбергер держался чрезвычайно уверенно. Снова был поставлен вопрос о том, нет ли ошибки в числе месяца или в часе. Нет, никакой ошибки здесь быть не могло. Шофер в два часа ночи с 23 на 24 февраля подвез доктора Крюгера к дому номер девяносто четыре по Катариненштрассе, и доктор Крюгер вместе с девицей Анной Элизабет Гайдер вошел в дом. Да, но ведь Крюгер в два часа ночи находился в постели свидетельницы Крайн на Штейнсдорфштрассе? Во время очной ставки шофер вдруг переменял тон, стал простовато-добродушен. Барышня, должно быть, просто ошибается. Женская память такая уж непрочная штука! Он производил довольно благоприятное впечатление. Но упорство и неподдельный гнев Иоганны Крайн также оказывали сильное влияние на настроение присяжных и публики. Председательствующий, честолобивый чиновник доктор Гартль, не без смущения закрыл судебное заседание, впервые ощущая некоторые опасения за благоприятный исход процесса.

## 17. Письмо из камеры сто тридцать четыре

Г-жа Франциска Амetsридер о показаниях Иоганны Крайн узнала из газет. Теперь только стало ей понятно, почему непрерывно звонит телефон и почему появляются все новые посетители, из которых, разумеется, далеко не все приходят за графологическими исследованиями.

Г-жа Амetsридер выпроваживала посетителей и в конце концов выключила телефон и дверной звонок. Отправилась к Иоганне, готовая к бою, неся на коротких крепких ногах, как боевое оружие, свое полное упругое тело к неразумной племяннице. Ясные светлые глаза воинственно поблескивали из-под огромного мужского черепа, покрытого коротко подстриженными, лишь кое-где поседевшими волосами. Она предполагала, что Иоганна ее не примет.

Но Иоганна впустила ее. Выжидательно, даже учтиво, глядела она на свою воинственную круглую тетюшку. Не распространяясь о моральной стороне дела, та постаралась резонно доказать, что, во-первых, показания Иоганны едва ли изменят что-нибудь в судьбе Мартина Крюгера и что, во-вторых, Иоганна, принимая во внимание господствующие в Мюнхене настроения, раз навсегда разрушила материальные основы своего существования. Иоганна, не пускаясь в обсуждение многочисленных аргументов тетки, коротко спросила, что же, по ее мнению, следует предпринять при создавшемся положении. И тут, как нередко бывало, выяснилось, что хотя у тетки и существовало твердое и непоколебимое мнение о случившемся, но, кроме весьма смутных и неопределенных планов на будущее, ничего в запасе не было. В конце концов Иоганна заметила, что если тетку стесняет ее пребывание в квартире, то пусть она просто скажет, когда ей выехать. Не подготовленная к такому обороту и с трудом сохраняя свой решительный тон, тетка ответила, что хоть слово-то сказать по поводу происходящего человек имеет право! Иоганна, с потемневшими от гнева глазами, неожиданно громко, с резким местным акцентом заявила, что теперь она хочет, чтобы ее наконец оставили в покое и пусть тетя поскорее убирается. Тетка ответила, что пришлет Иоганне чай и бутерброды, и удалилась мало удовлетворенная.

Уходя, она оставила на столе пачку писем и газет. Иоганну осыпали самыми грубыми ругательствами. Многие писали, что ее выступление ни в какой мере не доказывает невинности доктора Крюгера. Почему бы такому «чужаку», как он, и не перейти на протяжении нескольких минут от одной легкодоступной особы к другой? Она увидела в газетах свое изображение в самых разнообразных позах. Все они, за исключением только одной, были так неестественны, что она задала себе вопрос, неужели она и в самом деле держала себя так театрально? Некоторые газеты защищали ее, но делали это в обидно-благожелательном тоне людей, которые «все готовы понять». Большинство из них потешалось над ее занятиями графологией, кое-где в осторожной форме даже высказывалось предположение, что графология в данном случае служила лишь удобным средством для «ловли мужчин». Остальные, правда, брали под защиту ее профессиональную деятельность, но при этом они пользовались таким высокомерно-покровительственным стилем, что их дружелюбные замечания были еще несноснее, чем враждебные выпады. Во многих письмах ей обещали «показать». Эти письма были полны гнусных, иногда весьма красочных уличных ругательств, частью даже неизвестных Иоганне, хотя ей и приходилось иметь дело с обитателями заречных предместий.

Новый порыв бешенства охватил ее. Резким движением смела она со стола пачку печатной и исписанной бумаги и стала топтать ногами эту кучу составленной из букв грязи. Что-нибудь сделать! Ударить! Дать по физиономии одному из этих негодяев! Но припадок длился недолго. Она замерла в странно судорожной позе, закусив верхнюю губу, напряженно думая. Необходимо сохранить присутствие духа. После того как Мартин Крюгер так глупо попался в руки ее скотски ограниченным землякам, чертовски трудно будет вырвать его из их лап.

Она постаралась стряхнуть свое оцепенение, села, машинально сунула руку в кучу лежавших перед ней писем. Почерк на одном из конвертов смутил ее. Это было письмо от Мартина Крюгера.

Она не зашла к Крюгеру после заседания суда. У него есть склонность к театральным сценам, которой она не разделяет. Он, наверно, произнес бы что-нибудь патетическое. И вот он написал ей. Она досадливо глядит на конверт. Писать было не о чем. Три бороздки прорезают ее лоб. Сердито дыша, она вскрывает конверт.

Он не хочет этого, – писал Мартин Крюгер. – Рыцарские жесты, как ей известно, ему чужды. Но он не желает, чтобы именно сейчас, когда он явно и надолго попал в тяжелую полосу, другой связывал с ним свою судьбу. Он просит ее предоставить его самому себе и баварской юстиции. Он возвращает ей свободу.

Иоганна закусывает верхнюю губу. Только этого не хватало. Возвращает свободу! Она не выносит такой глупой болтовни. Безвкусные фразы из «семейного журнала». Он изрядно опустил за время своего предварительного заключения.

Она держит в руках письмо. Внезапно, поддаваясь внутреннему порыву, она вставляет его в аппарат, которым она обычно пользуется при своих исследованиях. Начинает разбирать почерк согласно остроумным, холодным методам, которым ее учили. Она играет, таким образом, с собой и Мартином Крюгером: эти методы ведь лишь средство привести себя в то состояние опьянения, в котором она только и делается способной ярко истолковывать почерк. Иногда она часами неотрывно глядит на маленький пюпитр, но в ней не рождается «понимания». Иногда почерк вообще отказывается излучать правду, и ей приходится возвращать образец, не выполнив взятой на себя задачи. Иногда, напротив, образец почерка действует на нее так сильно, что ей приходится между ним и собой, словно защитную стену, воздвигать свои трезвые, аккуратные методы. Ей душно, она жаждет ясности, но откровение почти всегда сопряжено для нее с мукой. Какое-то странное, запретное ощущение, какая-то смесь стыда и наслаждения овладевает ею, когда личность другого начинает выделяться из почерка, принимать форму, сливаться с ней. Вначале, когда она занималась этими исследованиями в виде спорта, чтобы позабавить веселую компанию, ей доставляло удовольствие глядеть в задумчивые, растерянные лица. Позднее ей стоило усилий заставить себя превращать в деньги эту странную и жуткую способность. Сейчас в ней все притупилось. Она к своим исследованиям относится серьезно. Она никогда не говорит того, в чем не убеждена вполне. Но нередко умалчивает о многом, что замечает. Часто также ей не хватает слов или она уклоняется от нежелательных открытий.

Она сидит в затемненной комнате, напряженным взором уставившись в аппарат. Почти пластично выступают ей навстречу черты почерка Мартина. Еще немного, скоро, вот сейчас, с нарастающей четкостью проявляемой фотопленки встанет перед ней образ писавшего. Она уже чувствует эту напряженную одухотворенность, легкость членов, сухость во рту, обострение всех чувств – все те признаки, которыми дает о себе знать близость понимания. Но она стремительно встает. Раздернуть занавеси! Впустить свет! Она тушит лампочку в аппарате, открывает окно, дышит. Человек в беде, человек в тюремной камере. Человек, с которым она была в горах, на море. Человек, подмигивавший ей во время речи бургомистра в том провинциальном городке. Человек, который лежал с ней в постели, который шептал ей ребяческие и сильные, глупые, добрые, мудрые слова.

Она вынимает письмо из аппарата. Мартин Крюгер – может быть, дурной человек, а может быть, и хороший. Во всяком случае, он ее друг. Она не хочет шпионить за ним. Она отлично отдает себе отчет в том, почему она впуталась в эту историю. Она не хочет оправдываться перед самой собой с помощью умных доводов. Не может быть, чтобы она не справилась с этими гнусными идиотами! Медленно, тщательно разрывает она на мелкие клочки письмо Мартина Крюгера, своего друга.

Она снова видит кипу газет и писем. Она хочет сохранить благоразумие, но не может остановить новый приступ бешенства. Еще шире растягивается ее и без того широкое лицо. Если ее земляки упрямы, как быки, то она вдвое упрямее. Если бы сейчас адвокат доктор Гейер увидел ее, сидящую с опущенной головой, с упорным, гневным взглядом, он не решился бы сказать, кто из этих двух баварцев одержит верх – министр юстиции или эта высокая девушка.

## 18. Прощения о помиловании

Перед министром юстиции Отто Кленком лежали два прошения о помиловании, вызывавшие интерес широких общественных кругов.

На одной из главных линий баварской железнодорожной сети сошел с рельсов курьерский поезд. При этом были убиты девятнадцать и ранен тридцать один человек. Причины крушения с точностью установить не удалось. Кое-кто усматривал причину в отсутствии предохранительных мероприятий; утверждали, что верхний настил пути был непригоден для новых, тяжелых паровозов. Ввиду того, что в это время между центральным Управлением общегерманских железных дорог и Правлением баварского железнодорожного округа произошел как раз ряд недоразумений, этот случай был крайне неудобен для баварских партикуляристов. Разрешение вопроса, было ли тут преступление или нет, имело, кроме того, значение и с точки зрения гражданской ответственности дороги. Если имело место преступление, дорога не несла материальной ответственности, в противном случае раненые и члены семейств убитых имели право на возмещение убытков. Железнодорожная администрация упорно отрицала свою вину и утверждала, что причиной несчастья является преступное покушение, на что, мол, указывают характер расхождения рельсов и тому подобные моменты.

Таково было положение вещей, когда баварской жандармерии удалось задержать подозрительного субъекта, который, как было доказано, в соответствующее время болтался близ места крушения. Этот человек, двадцати девяти лет от роду, по имени Прокон Водичка, чех по национальности, у себя на родине уже неоднократно подвергался взысканиям за нарушение общественной тишины и порядка. В течение последних нескольких недель он бродил по Баварии, питаясь картофелем и другими плодами земли, иногда зарабатывая в придорожных кабачках несколько пфеннигов музыкой и пляской, ибо этот неуклюжий парень с бледным, потным лицом был страстным танцором и музыкантом, которого охотно слушали шоферы и кельнерши в кабачках. Случилось как-то ему отпустить одно-другое сочное бунтарское замечание: он-де покажет «большоголовым», устроит такое, о чем заговорят все кругом и о чем они прочтут в газетах. Твердо установлено было во всяком случае, что его еще за час до несчастья видели вблизи места крушения. Кроме того, у него оказались подозрительные инструменты, вполне пригодные для того, чтобы расшатать шпалы и рельсы, что и могло привести к крушению. Подозрительно было и то, что после несчастья он поспешно удалился от места происшествия.

Баварский суд, перед которым ему пришлось предстать, счел во всяком случае его вину доказанной и приговорил его к десяти годам тюремного заключения. Баварская железнодорожная администрация была оправдана в глазах придирчивых северогерманских критиков, ее касса была освобождена от неприятных обязательств.

Но чешский бродяга нашел себе горячего защитника из круга, конечно, все того же доктора Гейера – некоего адвоката Левенмауля. В виновности Водички адвоката заставили усомниться – как он объяснил суду, а затем и на столбцах оппозиционной печати – прежде всего соображения психологического характера. Вначале, указывал адвокат, толстяк Водичка предположил, что его арестовали за какие-то другие преступления. Когда же ему предъявили обвинение в том, что он преднамеренно вызвал крушение, он сперва совершенно оторопел, а затем бурно, от души расхохотался, словно над остроумной шуткой. На фанатика, приносящего себя в жертву во имя идеи, он был мало похож – а какой выгоды он мог ожидать от такого поступка? Защищаясь, он оперировал именно такими здравыми доводами. Ему было совершенно непонятно, как могли его заподозрить; то, что он в злополучное время шатался вблизи места происшествия, было, по его словам, чистой случайностью. Грозиться он действительно грозился, но разве это не было естественно в его положении? Его мясистое неглупое лицо казалось злым, но



в то же время носило отпечаток лени и отнюдь не походило на лицо человека, совершающего преступление просто из принципа. Он старался все это объяснить, бодро и не смущаясь, уверенный, что все его такие ясные аргументы должны послужить к его оправданию. Когда же он совершенно случайно узнал из газеты, насколько администрация заинтересована в том, чтобы причиной несчастья оказалось преступление, а не халатность железнодорожных властей, он вдруг с фанатизмом, произведшим на адвоката Левенмауля потрясающее впечатление, бросил всякие попытки защищаться. Если целая страна с шестимиллионным населением, – объяснил он адвокату, – заинтересована в том, чтобы заклеить его как преступника, то он не так глуп, чтобы одному вступать в борьбу с этими шестью миллионами. С этого момента он довольствовался тем, что с известным лениво-ядовитым остроумием глумился над баварской юстицией. Но именно это поведение обвиняемого и подкрепило убеждение адвоката в том, что бродяга Водичка непричастен к железнодорожной катастрофе.

Потерпев неудачу на суде, адвокат умно и настойчиво, не впадая, однако, в вызывающий тон, продолжал в печати борьбу за своего подзащитного. И вот теперь наконец перед доктором Кленком лежало тщательно обоснованное адвокатом Левенмаулем прошение о помиловании заключенного Прокопа Водички. Кленк был человеком, с которым можно было сговориться: вспыльчивый, но тупо-упорный лишь в тех случаях, когда задевались его личные интересы или интересы его родной Баварии. Последние в данном случае были достаточно ограждены фактом юридически обоснованного осуждения Прокопа Водички, особенно благодаря тому, что Водичка категорически воспротивился подаче кассационной жалобы Левенмаулем. Но дело в том, что адвокат учитывал характер министра, которому должен был импонировать этот наглый и неглупый субъект, и, подавая прошение о помиловании, весьма рассчитывал на успех.

Вопрос престижа в этом деле мало трогал доктора Кленка. Оппозиционная пресса в случае помилования, разумеется, начнет разглазывать о том, что, очевидно, особой уверенности в виновности Водички не было и вопрос о крушении был и остался невыясненным. Но это все чушь, пустая болтовня. Это дело умерло; с ним, благодаря законному приговору, раз и навсегда покончено. Этот Водичка как таковой был ему совершенно безразличен. Единственным ощутимым последствием помилования было бы, как пометил на прошении поддерживавший его старейший и опытный референт, лишь то, что забота о бродяге Водичке с плеч Баварии перешла бы к Чехословакии, куда помилованного можно было бы выслать.

Пробегаая эти строки, министр Кленк внезапно уклонился мыслями в сторону, увидел перед собой скрытые толстыми стеклами очков проницательные голубые глаза адвоката доктора Гейера, как будто бы не имевшего ни малейшего отношения к этому делу, его узкие нервные руки. Ловко подстроил эта собака Гейер штуку с выступлением свидетельницы Крайн, приурочив его к концу процесса! Этот хитрый ход понравился Кленку, особенно потому, что все же не подрывал уверенности в исходе процесса.

Сделав над собою усилие, министр снова занялся лежавшей перед ним бумагой. «Единственным ощутимым последствием помилования было бы...» Удивительно противный субъект этот Гейер! «Если принять во внимание, что все же имеются лишь косвенные улики...» Флаухер на его месте, наверно, отклонил бы прошение... С Левенмаулем можно ладить... Гейер, если прочтет о помиловании, скривит морду...

Крупными буквами, наискось через последнюю отпечатанную на машинке страницу прошения, красным карандашом Кленк медленно начертил: «Отклонить. К.».

Теперь Гейеру не придется кривить морду!

Зазвонил телефон. Какие-то второстепенные вопросы. Бросая в трубку ничего не значащие краткие ответы, министр вызывает в памяти лицо Прокопа Водички. Бледная толстая рожа с маленькими хитрыми глазками. Пожалуй, рожа даже довольно симпатичная. Итак, он будет и дальше сидеть в тюрьме, плести соломенные матрацы, маленькими хитрыми глазками шны-

рять по углам. Но он благоразумно будет выжидать свой срок, он не так глуп, чтобы пытаться бежать.

Голос в телефоне умолк. Министр кладет трубку. А право же, этот заключенный Водичка не так уж несимпатичен. Если поставить его рядом с этим тонкокожим, мигающим, глубоко омерзительным Гейером, он начинает казаться даже просто симпатичным. Толстым красным карандашом перечеркивает министр Кленк пометку «отклонить», замазывает ее совершенно. Твердо и четко он пишет еще более крупными буквами: «Удовлетворить. К.».

Второе прошение было подано кочегаром Антоном Горнауэром. Этот кочегар работал на «Капуцинербрауэрей», одном из самых больших пивоваренных заводов, создавших мировую известность городу Мюнхену. В будни он работал восемь часов, в воскресенье – двенадцать. Он топил свой котел, следил за уровнем воды, за давлением пара, подбрасывал уголь. Стоял на своем посту. Восемь часов в будни, двенадцать часов в воскресенье. Дважды в день он поворачивал рычаг. Тогда горячий пар, температурой в сто тридцать градусов, направлялся в трубу, оттуда в люк, унося с собой по пути все, что могло засорить котел. Это был обычный способ очистки котла.

Однажды в воскресенье, когда кочегар, как обычно, повернул рычаг, он услышал душе-раздирающий крик. В котельную вбежали люди. «Закрыть! Закрыть!» Кочегар Горнауэр закрыл пар и выбежал во двор. Из люка вытащили рабочего. Несчастному, как оказалось, было велено вычистить люк. Когда он спустился на несколько ступеней вниз, его захлестнула волна горячего пара. Он умер на глазах кочегара, оставив после себя жену и четверых ребят.

На суде эксперты спорили об ответственности кочегара. Соответствовало ли оборудование всем обязательным постановлениям? Был ли кочегар юридически обязан справляться о том, работают ли в данное время в люке? Знал ли он, куда направляется выпускаемый им пар? Обязан ли был знать это? Завод «Капуцинербрауэрей», на котором произошло несчастье, пользовался мировой известностью. Он экспортировал пиво во все концы света. Безукоризненная постановка его производства и соблюдение мер охраны труда были делом чести не только его администрации, но и всей баварской промышленности. Страна была удовлетворена, когда суд установил, что вина падала на отдельного рабочего, а не на старинное, пользующееся общим уважением и приносящее тридцать девять процентов дивиденда предприятие. Дирекция, кроме того, по собственному почину, помимо положенного пособия обязалась выплачивать семье сварившегося заживо рабочего двадцать три марки восемьдесят пфеннигов ежемесячно. Виновный кочегар Горнауэр был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Он принял это решение с тупой и мертвой покорностью ничего не понимающего человека. Ведь он много лет служил на этом заводе, много лет сряду ежедневно два раза поворачивал рычаг. У него была болезненная жена и двое худосочных ребят. И вот на столе лежало его прошение о помиловании.

Директор и некоторые из крупных акционеров этого пивоваренного завода бывали в аристократическом «Клубе господ», в котором иногда проводил вечера и Кленк. Это дело носило гораздо более личный характер, чем дело Прокопа Водички. Если не виновен был кочегар Горнауэр, то были, значит, виновны тайные советники Беттингер и Динггардер, почтенные, солидные представители крупной буржуазии. Зато виновным оказался бы и Рейндль, которому Кленк охотно доставил бы такое удовольствие. Рейндль, правда, числился всего только членом наблюдательного совета «Капуцинербрауэрей», но фактически – и это знали все – был там полновластным хозяином. Заманчиво было снять с плеч действительно достойного сожаления человека несколько месяцев тюрьмы, особенно если при этом оказывалась возможность утереть нос этому Рейндлю, но, с другой стороны, ведь речь шла об исстари заслуженном предприятии, о значительнейшей отрасли баварской промышленности, об интересах всей Баварии. Кленк не мог позволить себе это маленькое удовольствие.

Мысли министра юстиции, в ту минуту, когда он почти машинально крупными буквами выводил: «Отклонить. *К.*», витали уже далеко, витали вокруг предстоявшего ему в тот же вечер выступления по радио. Он любил себя слушать. Его низкий благодушный голос производил хорошее впечатление. Тема его доклада – «Идеалы современного правосудия». Он надумал теперь, к концу процесса Крюгера и примерно после года своего пребывания в правительстве, обрисовать идеалы настоящей национальной юстиции, противопоставив их ложно понятым идеалам строго регламентированного, лишенного гибкости, не признающего исключений римского права.

## 19. Защитительная речь и голос в эфире

Защитительную речь нужно было строить так, чтобы она действовала на чувства присяжных. В Верхнебаварской области было бы неумно апеллировать к разуму судей народной совести. Расчет нужно было строить скорее на их эмоциональных восприятиях. Адвокату доктору Гейеру легче было бы развить строго логический ход мыслей, с математической точностью доказать, как слабы были аргументы в пользу виновности и сильны аргументы, доказывавшие невиновность подсудимого. Но он вызвал в памяти лица присяжных: Фейхтингера, Кортеси, Лехнера – и твердо решил владеть своими нервами, не проявлять своего отвращения к существующей системе. Надо говорить общими местами, способными задеть их за живое. Если депутат Гейер и еще больше Гейер-человек ощущал потребность громко кричать о чувствах стыда, отвращения и гнева, вызываемых в нем состоянием баварской юстиции, то Гейер-адвокат обязан был стремиться только к одному – к спасению своего подзащитного, и только. Благоразумие требовало во имя этого скрывать свое возмущение, создать контакт с сидящими на скамье присяжных.

Он не напрягал своих мыслей. Сейчас он уже мог позволить себе эту роскошь. Ясный план защитительной речи был уже составлен. Рабочий кабинет, несмотря на все старания экономки Агнесы, уже снова имел неуютный и неприбранный вид. Всюду были разбросаны книги, бумаги. Ботинки он снял здесь, а не в спальне, и они, облепленные грязью, красовались посреди комнаты. Скинутый им сюртук был брошен на спинку стула. На столе, под бумагами, лежала плитка шоколада, на радиаторе стояла недопитая чашка остывшего чая. Пепел от папирос валялся повсюду.

Гейер лег на диван. Заложив подвижные, нервные руки за голову, он уставился в потолок. Зачем он принял на себя защиту Крюгера? Стоило ли защищать отдельное лицо? Разве не было у него более важного дела? Кто же такой этот Крюгер, что ради него он не щадит себя, опустошает свою душу, стараясь комедиантскими способами воздействовать на идиотов-присяжных? Он сильнее замигал, машинально зажег папиросу, закурил частыми затяжками, лежа на спине.

Что ему вообще надо в этом удивительно тупоумном городе? Ведь этот народ сам *любит* своей омерзительной нелогичностью, блаженствует в студенистом хаосе своих представлений. Бог одарил их бесчувственным сердцем – большим, впрочем, плюсом на нашей планете. Он видел комика Бальтазара Гирля, мрачного шута, который с меланхолической псевдологикой упрямо копается в каких-то проблемах для дураков. На вопрос, например, почему он носит очки без стекол, Гирль отвечает, что это все же лучше, чем ничего. Ему объясняют, что усилению зрения способствует не оправа, а стекла. «К чему же тогда носят оправу?» – спрашивает он. «Чтобы держались стекла», – отвечают ему. «Ну вот, – отвечает он, вполне удовлетворенный, – я ведь так и говорил, что это лучше, чем ничего». Он очень популярный комик, его слава распространяется далеко за пределы города. Ему, Гейеру, он противен. Но весь здешний народ именно таков, как этот человек с очками без стекол. Его удовлетворяет пустая оправа юстиции, даже если она болезненно врезается в тело. Внутреннего содержания ему не нужно. И для этого народа он лезет из кожи! Чего ради? К чему старается он очистить грязную машину судопроизводства, когда те, кого она давит, прекрасно чувствуют себя в своем навозе? Ему свойственна выходящая далеко за пределы логики и разума, ненормальная, фанатическая потребность чистоты в вопросах права, потребность полной ясности. Отдавая себе отчет в неудовлетворительности всего аппарата, он желает хотя бы того, чтобы этот аппарат функционировал с механической точностью. Зачем? Никто не скажет ему за это слова благодарности. Он похож на хозяйку, стремящуюся во что бы то ни стало навести чистоту в доме, где жильцы чувствуют себя уютно только в грязи и затхлой атмосфере. Он похож на свою экономку Агнесу. Эти люди чувствуют себя гораздо лучше при «национальной юстиции» своего Кленка.

Вот он лежит на диване, смертельно измученный напряжением, с которым ему приходится сдерживать свои ежеминутно готовые выйти из повиновения нервы. Разве не благоразумнее было бы в тиши и покое закончить свою «Историю беззаконий в Баварии»? О своей книге «Право, политика, история» он уже не смеет и думать.

Он лежит на спине. Папироса потухла. Глаза закрыты, но он так устал, что у него нет сил снять очки. Он дышит тяжело. Тонкая кожа лица, несмотря на лихорадочный румянец, кажется дряблой под покрывающим ее редким пушком. Он плохо выбрит.

Он лежит так некоторое время, стараясь ни о чем не думать, но четко работающая память вытягивает на поверхность все новые и новые вопросы и образы: какие-то стихи о справедливом суде из старинной индийской пьесы, остроты популярного комика, рассуждения Мартина Крюгера в одной из его работ о связи фламандского искусства с испанским, лица присяжных на его процессе. А среди них и лицо присяжного фон Дельмайера. Легкомысленное, бледное, заостренное книзу лицо страхового агента фон Дельмайера снова, заслоняя все остальное, витает в мозгу усталого человека, лежащего на диване. Это лицо напоминает крысиную мордочку: такое острое, с мелкими глупыми зубками. Да и тонкий, плоский смех этого человека имеет что-то общее с крысиным писком. Весь этот человек – грызущая, заразная крыса. А за ним, из-за его плеча выглядывает другое, еще более бледное лицо. Адвокат дышит так, что его вздохи звучат словно подавленное рычание или болезненный стон. Резким усилием он заставляет себя встать. Нет, так он не отдохнет. Он потягивается, зевает, пустым взглядом окидывает кабинет. Еще не поздно. Он мог бы, пожалуй, еще глубже продумать кое-какие места своей защитительной речи. Но благоразумнее быть завтра свежим и сейчас, хотя время и непривычно раннее, лечь спать. Почти машинально надевает он наушники радиоприемника: ему хочется унести с собой хоть несколько тактов музыки. Но лицо его вдруг напрягается, взгляд становится острым, злым, взвешивающим. Он слышит низкий, жизнерадостный, насмешливый голос министра Кленка. «Абсолютного человеку достичь не дано. Нашим идеалом должно быть – перестроить нормы, оживающие только при соприкосновении с человеком, пронизать их национальным духом».

Адвокат и депутат ландтага доктор Зигберт Гейер медленно снимает наушники, необычно бережно выключает приемник. Его лоб покрыт пятнами. Он стирает рукой со лба пот, уже не кажется больше утомленным. Он вытаскивает из-под груды бумаг рукопись, на синей обложке которой виднеется надпись: «История беззаконий». Эта рукопись всюду следует за ним: из канцелярии в квартиру, из квартиры снова в канцелярию. Он перелистывает страницы, весь напрягается, перечеркивает, пишет. Экономка Агнеса своими широкими, крадущимися шагами пробирается в комнату, нервным, скрипучим голосом твердит о том, что он снова не ужинал, что завтра у него трудный день, что так дальше продолжаться не может и что пусть он наконец поест. Он поднимает глаза, не видя, смотрит куда-то мимо нее. Она начинает кричать. Он не прерывает ее. В конце концов она удаляется. Проходит два часа. Он все еще сидит и пишет.

На следующий день, произнося свою защитительную речь, адвокат безукоризненно владел собой. Его руки не дергались, лицо не было дряблым, щеки не вспыхивали внезапным румянцем. Его резкий голос звучал не совсем приятно, но он держал себя в руках и говорил не чересчур быстро. Он видел перед собой лица людей, следивших за движением его губ. Упорнее всего он останавливал свой пронизывающий взгляд на лице антиквара Лехнера, и по тому, как часто пользовался Лехнер своим пестрым носовым платком, адвокат судил о правильности взятого им курса. Все эффекты попадали прямо в цель.

Правда, такой знаток, как адвокат Левенмауль, заметил, что доктор Гейер дважды отклонился от своей основной линии. Однажды он без надобности заговорил о бесчисленных соблазнах современной эпохи, об отрицании ею всякой дисциплины, о ее легкомысленной, опустошающей, в сущности лишенной темперамента, погоне за наслаждениями. С трудом перешел

он затем к излишнему и даже вредному утверждению, что и Мартин Крюгер был заражен этой жаждой наслаждений, но что у него она в значительной мере претворялась в искусство. Но не заметил адвокат Левенмауль того, что во время этого обличительного отступления взгляд доктора Гейера, соскользнув с лица антиквара Каэтана Лехнера, впился в бледное, угреватое лицо страхового агента фон Дельмайера, который, однако, не отвел при этом скучающего, насмешливо-наглого взгляда от быстро двигавшихся губ адвоката. Позднее Левенмауль заметил, что его коллега начал распространяться по общим вопросам, которые первоначально, несомненно, не входили в намеченный план речи, увлекся рассуждениями об этике в области права, очень, правда, темпераментными, но более подходящими для парламента, чем для присяжных заседателей. А случилось это именно тогда, когда в зале неожиданно появился министр юстиции.

Оба раза доктор Гейер быстро овладел собой. Даже враждебно настроенные газеты принуждены были признать, что произнесение известным адвокатом защитительной речи представляло собою эффектное судебное зрелище.

## 20. Несколько хулиганов и один джентльмен

На другой день после вынесения Крюгеру обвинительного приговора Иоганна Крайн, направляясь к доктору Гейеру, проходила по бульвару вдоль берега Изара. Короткое, по моде того времени, бледно-зеленое платье открывало ее ноги, крепкие, несколько полные с точки зрения царившего в те годы вкуса. Она не торопилась, шла медленно. Песок поскрипывал под ее низкими каблуками. Веял свежий ветер; лаская взгляд, раскинулся город в веселом, ярком свете возвышенности. Иоганна любила этот город. Она наслаждалась дорогой и не без удивления отметила, что уже не ощущает гнева. Она шла бодро, вдыхая аромат раннего лета, окруженная молодой зеленью. Внизу быстро и мощно катились воды реки. Иоганна чувствовала себя спокойной, готовой к борьбе.

Из-за поворота дорожки показались четверо громко болтавших между собою молодых людей. Один из них был в спортивной куртке из серовато-зеленой материи. Они пристально оглядели высокую девушку. Один из них помахал тонкой тросточкой. Потом они обогнали ее, несколько раз оглянувшись, громко, с подчеркнутой развязностью засмеялись, с шумом уселись на скамейке. Иоганна Крайн на мгновение подумала, не повернуть ли назад или не свернуть ли на боковую дорожку. Но тут же заметила, что те четверо уставились на нее, явно выжидая, что она предпримет. Иоганна пошла прямо, мимо них, не ускоряя шага. «Конечно, это она!» – сказал один из них, тот, что был в куртке. Тот, который был с тросточкой, глядя на нее, громко присвистнул. Как только она прошла мимо, они поднялись, последовали за ней. Двое маленьких детей шли ей навстречу. Больше никого не было видно кругом. Она шла все так же медленно. Ее широкий лоб прорезали три гневные бороздки. Надо идти еще минуты три, затем эту дорожку должна пересечь другая, да, кроме того, вероятно, и эта дорожка не будет все три минуты такой безлюдной. Компания за ее спиной делает свои циничные замечания так громко, что она не может не слышать их. Они явно выжидают с ее стороны какого-нибудь ответа, и тогда скандал неизбежен. Но она будет благоразумной, не будет реагировать. Стоит показаться кому-нибудь на дороге, как она все равно избавится от этих мерзавцев. Вон там впереди уже виднеется кто-то. Кажется, прилично одетый человек. Она смотрит прямо вперед, на мост, узкой полоской перетягивающий реку, и на пелену тумана далеко за ним. Идущий ей навстречу человек становится больше. Четверо молодых парней идут за ней вплотную, почти наступая ей на пятки. Их грубые, циничные голоса звучат у нее в ушах. По-видимому, они выпили. Идущий навстречу человек, должно быть заметив что-то неладное, ускоряет шаг.

– Барышня, вы что ж это сегодня так рано утром уже в поисках кавалера на ночь? Что, если б вам выбрать одного из нас? Мы тоже не хуже других выполним свою работу. Хоть взглянули бы на нас! Или, может быть, нужно представить вам удостоверение, что хоть раз лжесвидетельствовал?

Она продолжает идти все так же медленно. Но вот, когда идущий навстречу человек уже совсем близко, она все-таки ускоряет шаг, даже бежит ему навстречу так, что колышется ее юбка. Это худощавый человек, в хорошо сидящем сером костюме, с резко очерченным лицом и рыжевато-белокурыми волосами.

– В чем дело? – спрашивает встречный чуть сдавленным голосом. – Что вам нужно от этой дамы?

Иоганна Крайн стоит возле него, протянув к нему руку, словно желая ухватиться за него, полураскрыв рот, – сейчас уже скорее напуганная, чем разгневанная.

– Ну, на гулящую девку смотреть, я думаю, разрешается? – говорит один из четырех.

Это звучит спокойно, пояснительно, почти добродушно, немножко пахнет отступлением. Но господин уже наскочил на него. Однако движение, которым он собирался подмять его под себя, не удалось. Господин, по-видимому, обучался приемам джиу-джитсу, но недостаточно

основательно. Во всяком случае, он уже лежит на земле, а те четверо колотят и топчут его что есть мочи.

– Какое вам вообще дело? – кричат они. – Вы, верно, кот этой дамочки? – вопит один из них.

Позади них на дорожке показывается пожилая супружеская чета, да и впереди появляются люди. Белокурый господин лежит на земле молча, не шевелясь. Иоганна Крайн кричит, кричит что есть силы. Люди, видневшиеся впереди, ускоряют шаг; супружеская чета останавливается; видимо боясь оказаться впутанной в драку, поворачивает назад.

А те четверо оглядывают лежащего на земле. Он по-прежнему не шевелится, выглядит очень грязным и измятым, по руке и лицу текут тонкие струйки крови. Но он тихо дышит. Глаза закрыты.

– Получил, скотина, что следует! – несколько неуверенно замечает один из парней.

– Вам, барышня, вовсе не из-за чего было так сразу вопить, – замечает тот, что в куртке. – Эти бабы вечно орут, словно их режут!

– Никто вас не собирался трогать, – говорит третий.

Но четвертый, не смущаясь и помахивая тросточкой, коротко обрывает разговор:

– Не взыщите, барышня!

И затем все четверо отступают в полном порядке, но весьма поспешно, в том направлении, куда скрылась супружеская чета, и как раз до того, как успевают подойти люди, приближающиеся с противоположной стороны.

Иоганна Крайн стоит на коленях возле лежащего. Песок колет ей колени. Подошли люди. Как-то сразу их собралось много: какой-то рабочий, влюбленная парочка из мещан, девочка-подросток с сумкой для книг, двое молодых людей, по-видимому студенты, пожилая дама,ковыляющая с палкой в руке.

Белокурый господин приоткрывает глаза.

– Они ушли? – осторожно спрашивает он. Затем с некоторым трудом высоким сдавленным голосом добавляет, обращаясь к Иоганне: – Вы испачкаетесь.

– Вы можете двигаться? – сыплются со всех сторон вопросы. – Не позвать ли врача? Санитара? Полицейского? Что, собственно, случилось?

Господин приподнимается, стонет и кряхтит. Поддерживаемый со всех сторон, становится на ноги.

– Благодарю, мне, кажется, ничего не нужно, – говорит он.

– Как они его отделали! – с возмущением восклицает дама, опирающаяся на палку. – Такой хороший костюм!

– Вот если б достать щетку... – бормочет белокурый господин, тщетно пытаясь стереть носовым платком кровь. Иоганна дает ему свой платок.

– Дамские платки для этого не годятся, – замечает он деловым тоном.

То, что он, пошатываясь, с лицом и руками, испачканными кровью, стоит, окруженный тесным кольцом зевак, нисколько не смущает его.

– Мне, право, больше ничего не надо, господа, – говорит он наконец. – Там у моста обычно стоят автомобили. Пять минут до них я вполне могу пройти. Да и вообще мне ничего, кроме воды и щетки, не понадобится.

– Так отделать человека! – не перестает повторять старушка с палкой. И под шум оживленного обмена мнений белокурый господин направляется к мосту. Он взял Иоганну под руку, словно это само собой разумелось. Окружающие разочарованы: все кончилось, а подробностей узнать не удалось.

– Ее лицо мне как будто знакомо, – говорит один из студентов.

– А она не киноактриса? – мечтательно осведомляется девочка-подросток с сумкой для книг.



– Он сам напал на него, – авторитетно сообщает кто-то.

– Кто? На кого? – спрашивают другие, и осведомленный сообщает подробности.

– Поглядите только, как они его отделали! – не унимается старушка с палкой, и все в некотором отдалении следуют за белокурый господином, который, прихрамывая, идет, опираясь на руку Иоганны.

– Разве я не ловко разыграл все это? – говорит белокурый господин, мальчишески-шаловливо обращаясь к Иоганне.

– Как? Что? – удивленно переспрашивает Иоганна, в то же время стараясь очистить приставшую к ее платью грязь.

– После того как я первый раз схватил его слишком низко, я ведь уже не мог ничего поделать, – поясняет он. – Ясно, что разумнее всего было закрыть глаза и разыграть мертвого жука. – Он все еще сильно прихрамывал. – Неужели вы сочли бы проявлением храбрости, если бы я предоставил им еще больше избить меня?

Иоганна невольно улыбнулась.

– Кстати, вы знакомы с этими молодыми людьми? – спросил он, повернув к ней свое умное, несколько помятое лицо и лукаво поглядывая на нее.

– То есть как? – удивилась Иоганна, высоко подняв брови.

– Если вы ничего не хотите рассказать мне об этом столкновении, – заметил он, – то у вас, должно быть, на это есть свои соображения. А я был бы не прочь узнать подробности. Скажу вам, что я от природы любопытен. – Он снова лукаво и доверчиво поглядел на нее. – Ай! – вскрикнул он, вдруг сильно припадая на ногу. Но когда она попыталась поддержать его, он сейчас же заворчал: – Да уберите же вашу руку! Вы только испачкаетесь в крови!

– Конечно, я этих хулиганов не знаю, – сказала Иоганна, – но они-то, должно быть, узнали меня.

– Как так – узнали? – своим сдавленным голосом спросил он. – Разве вас нужно обязательно знать? Кто же вы – кинозвезда? Или чемпионка по плаванию? Впрочем, мне ваше лицо действительно начинает казаться знакомым.

– Я рада, что мы добрались до автомобиля, – заметила она, так как его лицо снова страдальчески передернулось. – Эта история все-таки не прошла вам даром. Не лучше ли будет мне проводить вас?

– Ерунда, – сказал он. – Меня зовут Жак Тюверлен, – продолжал он после короткого молчания. – Если вам это будет приятно, можете справиться о моем здоровье. Мой номер найдете в телефонной книжке.

Она вспомнила, что где-то видела это имя напечатанным, но все же заставила Тюверлена повторить его по буквам.

– Меня зовут Иоганна Крайн, – проговорила она затем.

– Ах, так... вспоминаю! – подумав, отозвался он. – Но знаете, тогда пожалуй, будет лучше, если вы действительно поедете со мной. Не ради меня, а принимая во внимание создавшуюся обстановку. – И лицо его снова стянулось в бесчисленные складочки. Но сразу же затем он опять успокоился и выжидательно поглядел на нее.

Она также взглянула на него и увидела, что у него широкие плечи и узкие бедра. Мотор был заведен. Поколебавшись немного, он сел в автомобиль.

– О, я не думаю, чтобы ко мне еще раз привязались, – с опозданием произнесла Иоганна. – Эти четверо, вероятно, были пьяны. В общем ведь здешние люди довольно добродушны.

– Это ваше личное мнение, – сказал он. – Во всяком случае, при всем своем добродушии, за последние годы они поубивали немало народу. – Он уже сидел в машине, мотор гудел. – Вы знакомы с джиу-джитсу? – спросил он. И так как она, смеясь, покачала головой, добавил: – Тогда вам, пожалуй, все же следовало бы поехать со мной. – Прищурившись, он глядел на нее лукавыми, немного сонными глазами.

– Но в двенадцать мне нужно быть у моего адвоката, – произнесла она, уже стоя на подножке автомобиля.

– Так-то умнее, – весело сказал он, когда она села рядом с ним и автомобиль тронулся.

## Книга вторая. Движение

### 1. Вагон метрополитена

Вагон номер четыреста девятнадцать берлинского метрополитена, покрытый наполовину красным лаком, с мягкой красной кожаной обивкой, наполовину желтым лаком, с деревянными скамьями, был набит до отказа. Был час окончания занятий. Люди стояли, держась за ременные петли, прижатые друг к другу, притиснутые к коленям сидящих. Они толкали друг друга локтями, старались занимать как можно меньше места, бранились, извинялись. Кто-то сильно пахнувший дезинфекционными средствами сидел в углу, откинув назад забинтованную голову и полузакрыв глаза. Какая-то дама посасывала конфеты, вытаскивая их из пакетика, другая ежеминутно роняла на пол то сумочку, то один из своих многочисленных свертков. Какой-то беспомощный человек в очках, несмотря на все старания, вновь и вновь натыкался на соседей; кто-то ловким приемом обшаривал чей-то карман. Какая-то дама была занята губной помадой. Две молодые девушки беспокоили публику своими теннисными ракетками, а человек в синей блузе – похожим на пилу инструментом, который, по мнению большинства, вовсе не полагалось брать с собою в вагон.

Весь этот человеческий груз, хихикая, споря, совершая сделки, флиртуя, распространяя запах духов, с тупым, потухшим взглядом цепляясь за ременные петли, в одинаковом механическом ритме следовал движениям мчавшегося поезда, шатался, покачивался при крутых поворотах, одинаковым движением век шурил глаза, когда поезд из освещенного электричеством туннеля вылетал наверх, в полосу ярких лучей вечернего июньского солнца.

Многие читали только что вышедшие иллюстрированные вечерние выпуски газет с разжигающими любопытство жирными заголовками. «Покушение на депутата Гейера» – гласил крупный заголовок в одной из газет. Другие газеты, наоборот, приводили это известие мелким шрифтом на второй странице, приберегая на первой странице место для «Злоупотреблений чиновников-социалистов».

Но, независимо от размеров заголовков и шрифта, читатель все же мог узнать, что ранним утром на одной из тихих улиц Мюнхена три каких-то субъекта напали на адвоката Гейера и избили его дубинками так, что он, окровавленный и в обморочном состоянии, остался лежать на земле. Нападавшие успели скрыться. Одна из газет выражала бурное возмущение тем, что в Мюнхене возможно такое нападение среди бела дня, и как на одну из причин одичания нравов указывала на явное потворство со стороны баварского правительства. Другая газета говорила лишь о «легком ранении» доктора Гейера и высказывала предположение, что все дело сводится к чьей-то личной мести. Все, утверждала газета, знакомы с вызывающим поведением этого адвоката, лишь недавно проявившимся вновь на процессе Крюгера, и если и не оправдают, то во всяком случае поймут причину избиения.

Известие это было прочитано большинством пассажиров вагона номер четыреста девятнадцать берлинского метрополитена вечером 28 июня.

«Все дело в том, – подумал толстый пассажир, страдавший сильной одышкой, – что он чересчур лез вперед. Я с моим слабым сердцем не мог бы позволить себе такие авантюры. Правда, такая штука зато создает рекламу. Но ценой таких треволнений – нет, это слишком дорогое удовольствие!» Он вытер покрытое потом лицо, успокоил зашевелившуюся у его ног собаку и твердо решил впредь, как и до сих пор, держаться подальше от политических процессов.

«А всё оттого же, – подумал высокий видный господин в охотничьем костюме и высоких сапогах, – что эти евреи сами во всем виноваты. Зачем они вмешиваются в наши дела, которые их вовсе не касаются?»

«Мюнхен, – подумал толстяк с массивной тростью, – акции пивоваренных заводов... Не повлияет ли эта история на их курс? Если они не поднимутся еще, мне так и не видать автомобиля!»

Двое молодых людей, которые, склонившись над газетой, вместе прочли напечатанное в ней известие, взглянули друг на друга взволнованно и мрачно и продолжали сидеть молча, с расстроенными лицами.

– Когда реакционная сволочь нападает на рабочего, – высоким, взволнованным голосом произнес плохо одетый молодой человек в очках, обращаясь к двум другим, – а происходит это чуть ли не ежедневно, – об этом не печатают таким крупным шрифтом!

Какой-то стройный молодой человек в полувоенной куртке враждебно поглядел на говорившего, спрашивая себя, не вмешаться ли ему в это дело, но, увидя, что в этом вагоне он вряд ли привлечет на свою сторону большинство, удовлетворился угрожающим взглядом.

«Опять эта бесконечная политика!» – подумал человек с застывшим на лице выражением мужественности и с огромным перстнем на пальце и перевернул страницу газеты в поисках рецензии на вчерашнюю премьеру, где выступал его коллега.

– Я всегда это говорил, – волновался господин еврейского типа, обращаясь к своей полной соседке. – Не нужно ездить летом на баварские курорты. Когда они почувствуют, что уменьшается число приезжих, то бросят выкидывать такие штуки!

– Если они будут выкидывать такие штуки, – с беспокойством шептала девушка в очках, – цены на масло полезут еще выше. Сейчас уже фунт стоит двадцать семь марок двадцать пфеннигов. Я и так уже весь конец недели не могу Эмилю на завтрак намазывать хлеб маслом.

«Не послать ли телеграмму с выражением возмущения? – размышлял бледный, вегетарианского типа господин в пенсне и с огромным портфелем, задевавшим всех своими углами. – Если я этого не сделаю, скажут: „Вы никогда ничего не делаете вовремя“, а если я это сделаю, а потом дело обернется иначе как-нибудь, бонзы будут брюзжать».

– Ну и времечко! – плакалась какая-то взволнованная дама, прочитав известие через плечо соседа.

– Кого казнили? – закричала ее полуглухая, дряхлая мамаша.

– Доктора Гейера.

– Это не тот ли министр, который устроил инфляцию? – кричала мать из противоположного конца вагона.

Кто-то попытался объяснить ей, в чем дело. Кто-то с возмущением требовал, чтобы перестали шуметь.

– Так, значит, это и есть министр! – с удовлетворением констатировала глухая.

На каждой остановке люди выходили из вагона, быстро направлялись к выходу, торопились к ужину, к женщине, к приятелю, в кино. Уже на ступеньках ведущей на улицу лестницы они успевали забыть о газетной заметке. Назойливый крик газетчика: «Покушение на депутата Гейера!» – звучал как нечто устарелое и скучное в ушах этих спешивших куда-то людей.

## 2. Кое-какие случайные замечания о правосудии

Иоганна Крайн, следуя за экономкой Агнесой, вошла в спальню, где лежал больной адвокат Гейер. Тщетно стараясь смягчить свой визгливый голос, экономка плаксиво рассказывала, что с доктором Гейером нет никакого сладу. Всего только второй день, как он вернулся из больницы, а он уже не прочь был бы отослать сиделку и сразу же приняться за работу. На сегодняшний вечер, несмотря на запрещение врача, он вызвал своего помощника, а на завтра – заведующего своей канцелярией. С Иоганной, надо думать, он тоже собирается беседовать не о необходимой для больного диете.

Гейер, как только Иоганна вошла, отослал сиделку. Иоганна внимательно и приветливо глядела на худое, бледное лицо адвоката. Особенно четко выделялись теперь форма черепа, тонкий, заостренный нос, высокий лоб, глубоко впавшие виски. Голова была забинтована, щеки покрыты рыжеватым пушком, голубые глаза казались больше обыкновенного и более тусклыми. Не успела сиделка выйти, как он исхудалой рукой потянулся за очками, пользоваться которыми ему было сейчас запрещено. Как только он вооружился ими, он снова стал похож на прежнего энергичного и решительного человека.

О том, что произошло с ним, он говорил с подчеркнутым безразличием. Смеялся над бесконечными газетными пересудами. Покушение обошлось вполне благополучно. Сотрясение мозга уже почти прошло, рана над глазом не опасна. В худшем случае останется некоторая неподвижность бедренного сустава.

Сразу же, как упала температура и к нему вернулась способность ясно мыслить, он решил не принимать этой истории всерьез. Перебирая все отдельные моменты пережитого, он приходил к заключению, что держался хорошо. Услышав за собой в тишине безлюдной улицы быстрые шаги, он обернулся и в краткое, но для него длительное мгновение до нанесения удара уже знал, что сейчас будет, надо полагать, смертельно ранен. Он не ощутил тогда страха, не оказался трусом, сохранил спокойствие перед лицом опасности. Он был доволен собой.

Была, правда, во всем этом одна угнетающая его подробность. Тогда, обернувшись, он увидел троих молодых людей. Он видел их всего только в течение доли секунды; к тому же тот, который интересовал его, укрывался за другими и нагнул голову. Все же адвокату почудилось, что он узнал его лицо, ветреное, наглое, насмешливое лицо с мелкими крысиными зубками. Быть может, это была лишь фантазия, бредовое представление. Мысли адвоката часто, как ни боролся он с собой, витали вокруг этого лица. Добиться большей уверенности в этом вопросе было бы нетрудно; достаточно было бы назвать следователю имя страхового агента фон Дельмайера. Но если ветреный страховой агент был причастен к этой истории, то не мог не знать о покушении еще кто-то другой. А узнавать такую новость доктор Гейер не желал. Он предпочитал оставаться в неведении.

В общем, он отнесся к покушению довольно спокойно. С такими неприятностями должен был считаться всякий, кто выступал во имя какой-нибудь идеи. Если бы не то лицо, он испытывал бы даже некоторое удовлетворение от своего мученичества. Но стоило ему вспомнить лицо, как начинали болеть раны и острый бурав медленно сверлил череп. Что-то жгло глаза под закрытыми веками, и он лежал беспомощный и разбитый.

Спокойная, ясная сидела Иоганна среди некрасивой фабричной мебели, которую без любви и внимания была обставлена эта спальня. Всякое кокетство было ей противно, а подчеркнутое безразличие, с которым Гейер рассказывал о случившемся, производило на нее впечатление рисовки. Поэтому она почти не вставляла замечаний и скоро перевела разговор на дело Крюгера, ради которого она пришла.

Мартин Крюгер после приговора категорически запротестовал против кассации. Иоганна сочла этот отказ просто театральным жестом, обидчивым протестом против удара судьбы: чем

мне хуже, мол, – тем лучше! Но ей так и не удалось переубедить его. Его фатализм, по-видимому, имел какие-то глубокие корни. Она надеялась, что ясные доводы адвоката произведут на Мартина более сильное впечатление, но за день до истечения срока подачи кассационной жалобы произошло нападение на Гейера. Его заместителю не удалось воздействовать на Крюгера. Сейчас срок был пропущен, и Мартина перевели в исправительную тюрьму Одельсберг.

Трезво и сухо изложил ей доктор Гейер положение вещей. О пересмотре дела, согласно параграфу триста пятьдесят девятому, речь может быть только в случае выявления новых фактов или доказательств, могущих, в связи с приведенными ранее доказательствами, послужить основанием к оправданию обвиняемого. Ну, если б, например, можно было доказать, что шофер Ратценбергер дал ложную присягу. Он, доктор Гейер, разумеется, уже сделал попытку в этом направлении и подал соответствующее заявление. Но весьма маловероятно, чтобы прокуратура возбудила дело против шофера, раз у нее хватает ума не возбуждать дела даже против нее, Иоганны Крайн. По-видимому, решено считать всю эту историю законченной.хлопотать о помиловании в настоящее время почти что безнадежно. Едкие нападки внебаварской печати по поводу позорного приговора приносят в этом отношении больше вреда, чем пользы.

– Юридическим путем, таким образом, – резюмировал он свои доводы, – ничего для него сделать нельзя.

– Ну а другим путем? – спросила Иоганна, направляя на него взгляд своих больших серых глаз и при этом медленно поворачиваясь к нему всем лицом.

Доктор Гейер снял очки, полузакрыв покрасневшие веки, откинулся на подушки. Он потратил слишком много сил. Чего ради, собственно говоря?

– Возможно, что вы могли бы воздействовать на правительство с помощью светских связей, – проговорил он наконец вяло.

В то время как Гейер произносил эти слова, Иоганна по странной случайности вспомнила полное лицо с подернутыми поволокой глазами и маленьким ртом, медлительный, осторожный голос. Она никак не могла вспомнить связанное с ним имя. Это был один из присяжных, тот самый, который вступился за нее, когда прокурор так дурацки приставал к ней. Иоганна взглянула на адвоката, утомленного, сильно исхудавшего, старого. Ясно было, что пора уходить. И все-таки она спросила его резким тоном:

– Скажите, доктор Гейер, как звали того господина, ну, того присяжного, который вступился за меня перед прокурором?

– Это некий коммерции советник Гессрейтер, – ответил адвокат.

– Думаете ли вы, что он мог бы что-нибудь сделать? – спросила Иоганна.

– Это не исключено, – сказал адвокат. – Я, правда, имел в виду других лиц.

– Кого, например? – спросила Иоганна.

В дверь постучались, – должно быть, экономка Агнеса напоминала о том, что пора уходить. Адвокат не без труда назвал Иоганне пять имен. Она аккуратно записала их и только после этого удалилась. Доктор Гейер заранее радовался посещению Иоганны. Теперь, после ее ухода, он лежал измученный. Подтянутая вверх тонкая губа обнажала крепкие, желтые, сухие зубы. Его мучило воспоминание о том лице. Экономка Агнеса шепотом доказывала сиделке, что не следовало допускать к больному эту даму.

Перед домом на Штейнсдорфштрассе, где она жила, Иоганна застала Жака Тюверлена в его небольшом французском автомобиле. Она обещала ему сегодня поехать с ним в окрестности.

– Видите, – весело сказал он, – я был благоразумен и дал только два сигнала. Затем я догадался, что вас нет дома, и вел себя совсем тихо. Если бы я продолжал трубить, пожалуй, сбежалась бы вся улица. Поедем к Аммерзее, хотите? – предложил он.

Она согласилась – это спокойное, лишенное особенных красот предместье привлекало ее.

Тюверлен ехал не слишком быстро, уверенно правя машиной. Из-под больших автомобильных очков его помятое лицо светилось своеобразной мудростью, он был в прекрасном настроении, говорил много, с большой откровенностью. За время их знакомства они встречались уже дважды, но, полная забот, Иоганна как-то мало внимания уделяла его теориям. Сегодня она слушала более внимательно.

– Юстиция, – говорил он, в то время как автомобиль, наискось перерезая ровную местность, направлялся к бледно очерченным горам, – юстиция в периоды политических волнений – это нечто вроде эпидемии, которой следует остерегаться. Одного поражает грипп, другого – юстиция. В Баварии эта эпидемия особенно зловредна. Господин Крюгер, страдая предрасположением, должен был принимать профилактические меры. Ему не повезло. Очень жаль, но для общества это особого интереса не представляет; трагедии здесь нет. – Да, но ведь все это он ей уже говорил. И он стал объяснять ей различные приемы управления машиной.

Ее удивляет, – возразила она через некоторое время, так как была медлительна и часто отвечала не скоро, – ее удивляет, что он все еще испытывает желание встречаться с ней. Ведь ее интересы почти исключительно сосредоточены на деле Крюгера.

Жак Тюверлен сбоку поглядел на нее. – Это полное ее право, – спокойно заметил он, внимательно и изящно беря крутой поворот. – Ведь ее это занимает. Единственным оправданием человеческих действий является удовольствие, доставляемое действующему лицу его действием. Как только стоящий человек в какое-нибудь действие вкладывает элемент получаемого удовольствия, самое скучное дело становится интересным.

Его руки, правившие рулем, были сильны, покрыты веснушками и рыжеватыми волосками. Верхняя губа над крепкими зубами резко выступала вперед на странно обнаженном лице, слегка запавшие глаза над остро очерченным носом быстро перебежали с предмета на предмет, следили за дорогой, за пейзажем, за встречными, за сидевшей рядом с ним женщиной.

– Я люблю говорить начистоту, – объяснял он своим звонким и в то же время сдавленным голосом. – Слишком долго и сложно изыскивать хитроумные обходные пути. Это как-то не подходит к нашему времени. Прямота – быстрее и удобнее. Итак, я сразу же расскажу вам о том, что однажды в жизни сделал большую глупость. Именно тогда, когда принял германское подданство. Какая-то сентиментальная демонстрация в пользу побежденного! Ослиная глупость в квадрате! Но в общем Лига Наций, повысившая доход с моей женеvской гостиницы и курс моих швейцарских франков, дает мне возможность, не отказываясь от жизненных удобств, позволять себе говорить то, что есть. Мои писания пользуются у знатоков за границей почетом в такой же мере, в какой они непопулярны в Германии. Мне они доставляют удовольствие. Я пишу медленно, с трудом, но читаю свои произведения с наслаждением и нахожу их превосходными. Прибавьте к этому, что я слышу богатым, и мне поэтому хорошо платят. Помоему, жить очень приятно. Я предлагаю вам, Иоганна Крайн, соглашение на несентиментальной основе: я, Жак Тюверлен, начинаю интересоваться делом Крюгера, в которое вы вложили элемент своего удовольствия, а вы интересуетесь тем, что доставляет удовольствие мне.

Они пообедали в деревенском трактире. Им подали густой суп, большой сочный кусок телятины, грубо и бесхитростно приготовленной, картофельный салат. Озеро расстилось перед ними, широкое и светлое; горы позади него были подернуты туманом. Было тихо, и старые каштаны в саду трактира стояли недвижные. Иоганну удивило, с каким аппетитом ел худощавый Жак Тюверлен.

Затем они выехали на лодке в озеро. Он греб не напрягаясь и вскоре пустил лодку по воле волн. Затем они нежились на солнце. Тюверлен шурился. Он напоминал веселого, дерзкого мальчишку.

– Вы считаете меня бесстыдным за то, что я все выбалтываю? – спросил он.

Иоганна рассказала о своем посещении доктора Гейера. По мнению Жака Тюверлена, в мучениках всегда было что-то смешное. Физическое насилие в положении доктора Гейера

принадлежало к риску его профессии. То, что мученики якобы приносят пользу делу, которому служат, – просто модное суеверие. Смерть человека – еще не доказательство его достоинств. Остров Святой Елены еще не делает Наполеона. Тот, кто не достигает успеха, обычно аргументирует мученичеством. Унавозить дело кровью, конечно, верное средство, но это должна быть кровь противника. Справедливость – лишь одно из последствий успеха. Справедливое дело – всегда синоним успешного.

Все это объяснял писатель Тюверлен Иоганне Крайн в лодке на Аммерзее. Иоганна слушала его, подняв брови. Ее, как баварку, коробили его слова, ей был неприятен его циничный, деловой тон.

– А в деле Крюгера вы все же согласны помочь мне? – спросила она, когда он умолк.

– Разумеется, – лениво ответил он, лежа на дне лодки и беззастенчиво оглядывая ее с ног до головы.



### 3. Посещение тюрьмы

Ехать в тюрьму Одельсберг, расположенную в Нижней Баварии, было далеко и неудобно. Инженер Каспар Прекль предложил Иоганне отвезти ее туда. Автомобиль, предоставленный в его распоряжение правлением «Баварских автомобильных заводов», был снабжен хорошим двигателем, но не отличался удобством. Шел дождь, и было довольно холодно. Плохо выбритый, одетый в кожаную куртку и с такой же фуражкой на голове, в напряженной, неизящной позе сидел Каспар Прекль рядом с высокой, свежей девушкой и высказывал резкие взгляды, облеченные в грубоватую форму. Иоганна не знала, как себя держать с ним. То, что он говорил, было неожиданно, полно фанатизма, неглупо.

Молодой инженер, не имевший светского опыта, создал себе особую теорию, согласно которой, встречаясь с людьми, он обычно говорил только об их собственных делах, но никогда не говорил о своих, и тем менее об общих вопросах. Ведь люди обычно хорошо осведомлены о том, что относится к ним лично, и редко знают что-нибудь другое. Только таким путем от них можно почерпнуть интересные и полезные сведения. С Иоганной Крайн он поэтому говорил о женских делах – о браке, о женском труде, о моде. Он зло высмеивал институт брака как глупое капиталистическое учреждение, издевался над представлением о том, что можно «владеть» другим человеком. Перешел к тому, как нелепо сейчас, после войны, пытаться сохранить фикцию «дамы». Разошелся, заговорил более тепло, убедительно, даже весело. Иоганна почувствовала, как начинает таять стена, отделявшая их друг от друга. Но тут он затеял отчаянную ссору с возницей какой-то телеги, не услышавшим его сигнала и вовремя не свернувшим в сторону. Покраснел, начал кричать. Люди в телеге имели численный перевес и настроены были воинственно. Дело чуть не дошло до драки. Весь остальной путь Каспар Прекль был мрачен и молчалив.

Формальности, необходимые для выпуска в тюрьму, длились бесконечно. «Вы родственница Крюгера?» – «Нет». Чиновник снова поглядел на вписанное в пропуск имя. «Ах, так...» Иоганна чуть не вспыхнула. Затем началось бесконечное стояние в холодной конторе и в мрачных коридорах, под любопытными взглядами писцов и надзирателей. Сквозь заделанное решеткой окно им удалось заглянуть во двор с шестью жалкими, замурованными деревьями. Наконец в приемную первым вызвали Каспара Прекля.

Иоганна ждала. Вернувшись, Каспар Прекль сказал, что не может дольше выносить эту обстановку и подождет ее у главных ворот. Он казался оживленным, менее мрачным, чем обычно.

Увидев Крюгера, Иоганна испугалась. Она ожидала найти его опустившимся. Испугало ее не то, что когда-то плотный, почти полный человек стоял теперь перед ней в болтавшемся на нем платье, с серым, обросшим щетиной лицом и лишенными блеска глазами, а то, что он так мирно улыбался. Жалобы она перенесла бы, с сетованиями справилась бы, но в этой спокойной улыбке на сером лице было что-то могильное. Это покорное приятие уничтожения человеком, которого она знала таким живым и бурным, заставило ее растеряться и умолкнуть.

Доктор Гейер рассказывал ей, что на второй день после перевода сюда с Крюгером случился припадок буйства, перешедший в сердечный приступ. Врач склонен был считать этот припадок симуляцией. Однако ввиду того, что за последнее время несколько случаев «симуляции», к удивлению врача, окончились смертью «симулянтов», Крюгера из предосторожности уложили в лазарет. Доктор Гейер установил, что и после выздоровления больного отношение к нему осталось бережным. У него сложилось такое впечатление, – говорил адвокат Иоганне, – что Крюгер так же беспомощно дивится своей судьбе, как животное, попавшее в неволю. Таким и рассчитывала она найти его. Теперь здесь, отделенный от нее решеткой, стоял серый, старый, опустившийся и совсем чужой человек со странной, умиротворенной улыбкой. С этим

человеком она путешествовала? И не раз? С ним спала? Это тот самый человек, который из озорства заставил бургомистра того провинциального города произнести забавный тост? Тот самый, который в баре «Одеон» надавал пощечин какому-то господину с весьма представительной наружностью только за то, что непристойные замечания этого господина по адресу писателя Ведекинда подействовали ему на нервы?

Он очень рад ее приезду, – сказал человек за решеткой. О фактической стороне своей жизни он старался не говорить. Он не чувствует себя несчастным. По работе он не скучает. Все, написанное им, находит никуда не годной дрянью. Есть в лучшем случае лишь одно, о чем стоило бы писать. Об этом он говорил с Каспаром Преклем. Очень хорошо с ее стороны, что она борется за его освобождение. Он уверен, что она и Гейер выполняют все наилучшим образом. Извне его положение, вероятно, кажется хуже, чем здесь, среди этих стен. Его серое, вялое лицо сейчас, когда он произносил такие спокойные слова, не казалось ей похожим на лицо того человека, который прежде так страстно отстаивал свои положения. Он говорил туманно, миролюбиво, вежливо, бесцветно. Надзиратель не имел повода вмешиваться. Она обрадовалась, когда надзиратель наконец заявил, что время свидания истекло. Вялый человек с серым лицом протянул ей сквозь решетку руку, несколько раз поклонился. Только совсем под конец она заметила, что наряду с другими переменами он коротко острижен.

По длинным коридорам почти бегом устремилась она к выходу, к главным воротам. Это спокойствие было страшнее любого буйного припадка. Она ошиблась дорогой, и ей пришлось повернуть назад. Через окно она увидела залитый дождем двор и шесть жалких, замурованных в нем деревьев. Сторож в зверинце однажды уверял ее, что звери не чувствуют неволи. Бега взад и вперед по клетке, они, десять тысяч раз пробежав расстояние в шесть метров, ощущают то же, что и покрыв расстояние в шестьдесят километров. Одна львица, произведшая на свет детеныша, целый день таскала его взад и вперед, очевидно желая унести его возможно дальше от берлоги, в которой он родился, и спасти от прожорливого отца. Зверь, следовательно, верил в путь, а не в расстояние.

Да, адвокат был прав: Мартин Крюгер, словно только что пойманный зверь, не отдавал себе отчета в своем положении.

Каспар Прекль весь был под впечатлением короткой беседы с Мартином. Его костлявое лицо с низко опускающимися на лоб волосами было крайне взволновано. По его мнению, Крюгер был на подъеме.

– Он преодолеет все это, – убежденно заметил Прекль. – Вы увидите, он все преодолеет.

Единственное, что, по мнению Крюгера, имело значение и о чем он говорил с Преклем, была картина «Иосиф и его братья». Иоганна заметила, что розыски картины, быть может, следовало бы поручить какому-нибудь детективному бюро. Но оказалось, что Крюгер категорически воспретил это.

Иоганна все время вспоминала о том, каким странным, коммерчески-деловым тоном Мартин говорил с ней о ее деятельности в его пользу. Она и адвокат «выполняют все наилучшим образом», – сказал он. А с Каспаром Преклем он вот говорил о картине «Иосиф и его братья».

На обратном пути Иоганна была молчаливее своего спутника. Прекль пытался объяснить ей, что в книгах Мартина хорошо и что дурно. То, что Мартин Крюгер называл их теперь «никуда не годной дрянью», было, конечно, преувеличением. Но было, пожалуй, неплохо, что он сейчас бранил свои работы.

– Он все это преодолеет! – с уверенностью повторил Прекль, в упор глядя на Иоганну своими глубоко запавшими, горящими глазами.

Когда Иоганна, распрощавшись с Каспаром Преклем, поднималась по лестнице в свою квартиру, перед ее глазами стояли три образа: серолицый, мирный, вялый человек за решеткой, горящие, глубоко запавшие глаза молодого инженера, шесть жалких, замурованных деревьев на тюремном дворе.

## 4. Пятый евангелист

Барон Андреас фон Рейндль, главный директор «Баварских автомобильных заводов», взглянув на часы, увидел, что уже почти половина одиннадцатого. В половине одиннадцатого он, согласно пометке на календаре, должен был принять своих директоров Отто и Шрейнера. Сейчас вспыхнет на телефонном аппарате сигнал, и секретарь доложит об их приходе. Г-н фон Рейндль не чувствовал большой охоты участвовать в предстоящем совещании. Технические подробности производства «Баварских автомобильных заводов» нисколько не интересовали его. Если он со своими служащими и говорил о них, то это было лишь простой формальностью, выполнением скучной обязанности.

Он порылся в куче писем и газетных вырезок, положенных секретарем на его декоративный письменный стол. Карие глаза без особого интереса скользнули по груде бумаг. Из всей массы он выбрал наконец ярко-зеленую книжку берлинского журнала. Белыми пухлыми пальцами раскрыл страницу с помеченной для него статьей под заглавием «Пятый евангелист». Он начинал, по-видимому, входить в моду у авторов фельетонов по экономическим вопросам. Печать проявляла интерес к его душевной жизни. Рейндль медленно читал, и его верхняя губа под густыми черными усами, морщась, выпукло выступала на мясистом лице.

«Господин фон Рейндль, – говорилось в статье, – генеральный директор „Баварских автомобильных заводов“ и Акционерного общества дунайского пароходства, главный акционер пивоваренного завода „Капуцинербрауэрей“ и газеты „Генеральанцейгер“, совладелец целого ряда других предприятий, играющий руководящую роль среди баварских промышленников, несмотря на принадлежность к группировке партикуляристов, все же значительно отличается от обычного типа баварца. Сейчас ему около пятидесяти лет. В молодости он слыл тем, что в Мюнхене принято называть „фруктец“, слыл блудным сыном. Он много путешествовал, проявляя при этом странные, необычные для баварца вкусы. Вернувшись в Баварию, господин фон Рейндль оказался вожаком немногих местных бонвиванов. Возможно, что с тех времен и укрепилось за ним прозвище „Пятый евангелист“. Это прозвище, несмотря на его туманное значение, держится вот уже двадцать лет. Со своими блестящими черными волосами и пушистыми усами он как-то странно выделялся в мюнхенской обстановке, был молодым человеком с исключительно хорошей внешностью, вероятно унаследованной им от своей бабки Марианны фон Плачиотта, портрет которой король Людвиг I заказал для „Галереи красавиц“ своей столицы. В то время он был предметом безграничного обожания мюнхенских дам, душой как мюнхенских празднеств и балов, устраиваемых верхушкой общества, так и гуляний в простонародных пивных погребках, одним из популярнейших людей в городе. Однако, невзирая на свое изящество, светские качества, успех у женщин, этот отпрыск старинной, богатой и знатной семьи ни при дворе, ни в обществе, ни в „Купеческом клубе“, ни в „Клубе господ“ никогда не пользовался действительными симпатиями».

Прочитав эти строки, барон фон Рейндль удивился. Никогда не замечал он того, что утверждал здесь автор фельетона, и никто не говорил ему об этом. Но теперь, уже немолодым человеком, яснее разбираясь в пережитом, он готов был признать правоту берлинского журналиста и улыбнулся, не без чувства какого-то острого удовлетворения.

«Характер и судьба Андреаса фон Рейндля, – читал он дальше, – резко изменились, когда, вследствие преждевременной смерти старика Рейндля, в руки сына перешло управление широко раскинувшейся сетью предприятий. С изумительной энергией он с этой минуты, не отказываясь в то же время от бурной личной жизни, окунулся в мир коммерческих дел. Уволил ряд старых служащих, своевременно учел выгоды, предоставляемые войной, и соответственно перестроился. Вопреки всем мюнхенским обычаям, завязал выгодные связи с тяжелой промышленностью Запада».

Вспыхнула сигнальная лампа телефонного аппарата. Рейндль не обратил на нее внимания. Поднявшись, тяжелый и массивный, зашагал он взад и вперед по комнате, не выпуская из пухлых бледных рук ярко-зеленой книжки журнала. «Этот руководитель баварской промышленности, – читал он дальше, – мало что понимая в технике, острым чутьем сумел уловить, откуда дует ветер. Поставил на ноги первое германское общество воздушных сообщений, первый германский автомобильный завод. Когда во время войны главари промышленности производили между собой раздел Германии, Рейндлю была отведена в качестве „сферы влияния“ Южная Германия. Однако господам с Рейна и Рура так и не удалось заставить этого деятельного человека ограничиться отведенной ему областью и отстранить его от других дел.

Он резко отличается от остальных представителей германской крупной промышленности. Подчас кажется, словно он производит автомобили не для того, чтобы делать деньги, и не для того, чтобы делать автомобили, а просто потому, что процесс организации производства доставляет ему удовольствие. Ему доставляет удовольствие создавать эту гигантскую смесь из автомобилей, газетных издательств, пива, националистических боевых союзов, судовых линий, кипящей народной души, отелей. Он оказывал широкую материальную поддержку искусству, но считался при этом только со своими собственными взглядами и настроениями. Когда несколько времени назад парламент из тупого упрямства вычеркнул из бюджета дотацию мюнхенской картинной галереи, Рейндль сам дал нужную сумму. Это он облегчил государству приобретение вызвавшей значительные споры картины „Иосиф и его братья“. Многие мюнхенцы подозревают в нем сторонника сумасбродных идей. Дела, вера, увлечение любовью и предметами искусства – все это в жизни Пятого евангелиста сплетается вместе. Единственно ясными для наблюдателя движущими мотивами его действий были, наряду с пресловутой неуравновешенностью баварской натуры, любопытство, погоня за сильными ощущениями и сенсацией».

Окончив чтение, г-н фон Рейндль прошелся по комнате той легкой походкой, которая сохранилась у него с прежних лет и теперь уже не подходила к его слегка отяжелевшей фигуре. Он взглянул на картину «Похищение Европы», якобы принадлежавшую кисти Джорджоне, и она не понравилась ему. Даже и на знаменитый портрет своей матери работы Ленбаха он поглядел недоброжелательно. Вся комната вдруг показалась ему похожей на зал музея, а не на кабинет. Какая нелепость! Он заглянул в узкое зеркало, нашел, что лицо его обрюзгло и имеет нездоровый вид. Он бросил на стол ярко-зеленую книжку и произнес скорее со скукой, чем с досадой: «Болван!» Снова вспыхнул сигнал телефонного аппарата. Он снял трубку. Секретарь спрашивал, может ли г-н фон Рейндль сейчас принять господ директоров. Фон Рейндль ответил неожиданно высоким для своего массивного тела голосом: «Нет». И добавил, что просит зайти к нему инженера Каспара Прекля.

Директора, конечно, будут злиться на него за то, что он отослал их и вызвал этого молодого хулигана. Действительно, глупо, что он уделяет время этому парню, когда весь его день заполнен делами до отказа. Прекль, конечно, набьет ему оскомину всякими техническими подробностями. У него наверняка разработан новый план выпуска его дешевых серийных автомобилей и тому подобные глупости. Он, Рейндль, потратит двадцать драгоценных минут. Благо разумнее было бы за это время вбить кое-какие принципиальные установки в тупоумные головы своих директоров.

Каспар Прекль явился. Он был в своей поношенной кожаной куртке, небрит. Уселся в неизящной позе довольно далеко от Рейндля, на краешке роскошного кресла. Весь сжавшись, недоверчивым взглядом глубоко запавших глаз впился в своего шефа. Вытащил проекты, чертежи. Объяснял с увлечением, пользуясь в разговоре местным наречием. Скоро, увидев, что Рейндль плохо понимает, вышел из терпения, начал кричать. Все чаще и чаще вставлял в свою речь резкое, грубое: «Понятно?»

Как всегда, когда он имел дело с Пятым евангелистом, Прекль чувствовал, что ему как-то не по себе. Он отлично знал, что Рейндля не интересует техническая сторона его автомобильного завода. Удивительно было, что он принял именно его, а не директоров. Зачем его, Прекля, держали на этом предприятии? Почему, собственно, ему поручали разрабатывать все новые проекты, предоставляли возможность производить дорогостоящие опыты, раз их результаты все равно затем не применялись на практике? Он без конца возился со своим серийным автомобилем, который и в самом деле мог бы вытеснить с рынка американские машины. Рейндль должен ведь был понимать, какие огромные возможности таились в этом проекте.

Ничего нельзя было прочесть на лице капиталиста, на этом бледном лице с резко выделяющимися густыми усами. Рейндль не понимал ни одного слова и ни одного слова не произносил. Но молодой инженер не хотел замечать, как безразличны были его объяснения этому массивному холеному человеку. Из всех сил пытаясь завладеть своим шефом, он старался объяснить ему вещи, которых тот вовсе не желал знать.

Г-н фон Рейндль между тем грустными карими глазами с интересом рассматривал дыру – справа, у самого плеча – на кожаной куртке Прекля. Он ясно помнил, что видел эту дыру на том же месте уже с полгода назад. Побриться этот малый тоже не считал нужным. Его манера начесывать волосы на лоб не лишена была некоторого наивного кокетства. Странно, почему этот Прекль нравится женщинам? Артистка Клер Гольц, женщина, обладающая пониманием и вкусом, прямо в восторге от него. При этом она не могла не заметить, какой он имел запущенный вид. Она даже шутила по этому поводу. От парня пахло, как от солдата в походе. Его угловатый ядовитый юмор как будто не должен нравиться женщинам. Его окружала явно революционная атмосфера. Очевидно, он достигал успеха своими вульгарнейшими балладами. Когда он пел их звонким голосом, женщины просто теряли власть над собой. Рейндлю некоторые из них уже рассказывали об этом с подозрительным блеском в глазах. Собственно, он не прочь был бы пригласить как-нибудь Прекля, предложить ему спеть одну из своих баллад. Но ведь он наверно оборвет его, этот нахал.

Он все еще болтает о своем серийном автомобиле: сложный винегрет из сцепления и выхлопных газов. Должно быть, он сконструировал все это очень хитро. Он хитер. Наверно, он очень знающий инженер. Иначе остальные не ругали бы его так яростно. Хитрый парень, ловкач, голова! Головы – штука редкая в его родной Баварии. Но голова – трудно применяемая вещь в производстве. Все же он, Рейндль, коллекционирует головы. Пятым евангелистом может позволить себе такую роскошь. Иногда ему даже удавалось из голов выколачивать прибыль.

Удивительно, что такой способный человек, как этот Прекль, не имеет ни малейшего представления о нем, Рейндле, и о его делах. Должно быть, он думает, что Рейндль действительно бог весть как интересуется его серийным автомобилем, всякими там сцеплениями и выхлопными газами. Все эти коммунисты с важностью разглагольствуют об «империализме», об «интернационализме капитала», а на практике такой вот парень наивно готов предполагать, что Рейндля интересует сцепление или выхлопные газы. Буду ли я выпускать серийные автомобили или нет, это, почтеннейший мой господин Прекль, зависит не от ваших конструкций, а от французского железного синдиката. Рабочая сила сейчас, во время инфляции, в Германии дешева, гораздо дешевле, чем вы можете себе представить, милейший! Теперь, как никогда, можно побить иностранную конкуренцию. Штука только в том, господин инженер, что выпуск вашей дешевой конструкции может осложнить отношения с американской автомобильной промышленностью. А решусь ли я осложнять эти отношения – это зависит от того, столкнутся ли с французами хозяева прирейнской и рурской промышленности. А ты вот, братец, пристаешь со своими хитроумными сцеплениями!

Каспар Прекль, по-прежнему стараясь в новых выражениях и ярких красках объяснить своему хозяину подробности проекта, вдруг задал себе вопрос – чего ради, собственно, он изощряется перед этой скотиной? Да и вообще, совершенная бессмыслица, что он остается в

этой стране. Почему он не уезжает в Москву? Там ведь ему, несомненно, было бы много легче осуществить свой проект серийного автомобиля. Там нужны инженеры, нужны такие люди, как он, марксисты до мозга костей. Чего ради он старается убедить эту жирную свинью, вместо того чтобы плюнуть на все?

Прожорливые губы пухлого человека, массивно и грустно сидящего против Прекля, внезапно раскрываются, как только инженер делает в своем докладе небольшую паузу, и шеф говорит:

– Послушайте, дорогой Прекль, вы мне когда-то рассказывали о своем друге Крюгере. Видались ли вы с ним с тех пор?

Каспар Прекль знает, что г-н фон Рейндль вовсе не специально для него говорит на верхнебаварском наречии, но и сегодня, как всегда, его еще больше, чем содержание вопроса, поражает в устах Рейндля диалект. Он глядит на массивного, словно замечтавшегося человека, сидящего перед ним. Затем вспоминает слова Иоганны Крайн – на днях она снова говорила ему, что, по ее сведениям, есть всего пять человек, из которых каждый в отдельности мог бы извлечь Мартина Крюгера из тюрьмы: кардинал и архиепископ города Мюнхена, министр юстиции Кленк, руководитель крестьянской партии и тайный правитель Баварии старик Бихлер, кронпринц Максимилиан и барон Рейндль. Он, Прекль, в свое время уже просил Рейндля вступить за Крюгера. Безрезультатно. Ему совершенно неясно сейчас, к чему клонится этот вопрос. Из предосторожности он отвечает грубо:

– Не понимаю, какое отношение это имеет к моему серийному автомобилю?

Рейндль сам сейчас удивлен тем, что задал Преклю такой вопрос. Ведь он совершенно не интересуется делом Крюгера. Разве Крюгер когда-то не отпустил замечания о некоем «трехпфенниговом Медичи»? Конечно, он не предполагает мстить Крюгеру за эту остроту, но с какой стати «трехпфенниговому Медичи» вызволять этого человека из беды?

Но именно так и бывает всегда, когда он встречается с этим молодым человеком. Его так и подмывает задеть какую-нибудь скользкую тему.

– Я мало что понимаю в выхлопных газах, дорогой Прекль, – примирительно говорит он после короткого молчания своим высоким, жирным голосом. – Но я верю вам на слово, что ваши проекты прекрасны. Только поймите: разрешение вопроса о том, стоит ли сейчас расширять производство, зависит не только от качества ваших проектов. Что касается вашего друга, господина Крюгера, – продолжал он, – то, если не ошибаюсь, вы сами уже однажды говорили со мной о нем. Я тогда не мог ответить вам ничего определенного. Жаль, что мне как раз пришлось тогда уехать в Москву. С вашими товарищами, кстати сказать, совсем нельзя вести дела, дорогой мой. Для этого нужны слишком крепкие нервы. Уж очень они большие доктринеры и так по-мужицки хитры. Этим они несколько напоминают наших с вами земляков, дорогой мой.

Каспар Прекль своими глубоко запавшими пронизывающими глазами глядел в мечтательные глаза Рейндля. Он вдруг заметил, что у этого человека злобный лоб, и решил ничего не говорить в защиту Крюгера. Это все равно не принесло бы пользы. Он молчал, пока вдруг снова не раздался высокий, чрезвычайно любезный голос:

– Послушайте, дорогой Прекль, – не дадите ли вы мне прочесть несколько ваших баллад?

– Откуда вы знаете о них? – вспыхнув, с досадой спросил Прекль.

Выяснилось, что г-н фон Рейндль слышал о балладах Прекля от артистки Клере Гольц. Прекль ничего не ответил, попытался снова перевести разговор на технические вопросы, но господин фон Рейндль неожиданно властным тоном заявил, что у него больше нет времени. Даже для баллад господина Прекля, – вежливо добавил он. Каспар Прекль подумал, что так оно, вероятно, и есть на самом деле.

Он простился коротко и грубо. Он был отчасти недоволен собой: ему следовало использовать настроение Рейндля и, согласно настойчивым советам своей подруги Анни, добиться хотя бы каких-нибудь практических результатов – увеличения жалованья или чего-нибудь подоб-

ного. Но еще больше злил его сам Рейндль, его жирная, невозмутимая, самоуверенная наглость. Все же он не мог скрыть от себя, что при всей искусственности Рейндля за его грустной маской толстяка скрывалось что-то интересное. Баварский выговор шефа тоже располагал Прекля в его пользу. Покидая неприятно декоративный кабинет, Прекль подумал, что в случае переворота он не без некоторого сожаления прикажет поставить Пятого евангелиста к стенке.

## 5. Fundamentum regnorum<sup>2</sup>

Доктор Кленк и доктор Флаухер вместе возвращались с выставки летательных аппаратов. Флаухер спросил своего коллегу, министра юстиции, имеет ли он сведения о поведении Крюгера в тюрьме. Да, Кленк имел сведения. Заключение Крюгер упорен. Заключение Крюгер ведет себя вызывающе.

– Это похоже на него! – проворчал Флаухер. – Иного от этого «чужака» и ожидать нельзя было! В чем, желательно знать, это вызывающее поведение выражается?

– Крюгер улыбается, – пояснил Кленк.

Флаухер выразил удивление.

– Да, – продолжал Кленк. – Мне сообщают, что Крюгер вызывающе улыбается. Администрация неоднократно предостерегала его, но отучить от этой улыбки его не удалось. Они желали бы подвергнуть его наказанию.

– Это похоже на него! – снова проворчал министр просвещения Флаухер, потирая где-то между шеей и воротничком.

– Я лично, – заметил Кленк, – не очень-то доверяю проницательности моих подчиненных. Не думаю, что инкриминируемая ему улыбка сознательно вызывающая.

– Несомненно, вызывающая! – настаивал Флаухер.

– Это чересчур упрощенное объяснение, – сказал Кленк, глядя на Флаухера. – Я предложил не подвергать Крюгера взысканию за его улыбку.

– Вы заразились гнусным зудом гуманности! – возопил Флаухер, неодобрительно косясь на долгового костлявого коллегу.

– Я думаю, мы его еще когда-нибудь помилуем, – сказал Кленк, с усмешкой в уголках глаз поглядывая на фыркавшего от злости Флаухера. – Когда-нибудь, – успокоительно добавил он, видя, что Флаухер готов вспылить. – Не сегодня и не завтра. Избавиться от него вы избавились, а ведь мы вовсе не мстительны.

С этими словами он высадил Флаухера, так как они подъехали к зданию министерства просвещения.

В приемной Кленка ожидал доктор Гейер. Адвокат опирался на палку. Он отрастил себе рыжеватую бороду. На бледном лице резко выступал его узкий нос. «Строит из себя мученика за правду», – подумал Кленк.

Кленк охотно сталкивался с ненавистным адвокатом. Гейер являлся раза три-четыре в году по таким делам, по которым министр других бы не принял. Такие беседы, по существу, практических результатов не давали. Тем не менее оба они с нетерпением ждали встречи.

На этот раз Гейер явился по делу заключенного Трибшенера. Механик, специалист по точным приборам, Гуго Трибшениер в юности, испытывая нужду, совершил какие-то преступления против собственности и в возрасте двадцати лет был приговорен к двум годам тюрьмы. Отбыв наказание, он принялся за работу, упорно стараясь восстановить свое положение. Он проявил себя как один из лучших часовых дел мастеров в своем округе. Вскоре у него в небольшом северогерманском городке, где он жил, оказалось четыре мастерских по ремонту часов. В другом городе он открыл также часовую мастерскую для своего отца, кормил мать и поддерживал всю семью. Но тут началась война, и часовщик Трибшениер, как и все подвергавшиеся наказанию по суду, был поставлен под надзор полиции. Постоянные явки к полицейскому комиссару, атмосфера преступности, полиция, с которой он сталкивался на всех путях своей жизни. Население в начале войны отличалось чрезвычайным пуританством. Люди рады были возможности унижить этого человека, чересчур быстро выбившегося на поверхность. Презри-

---

<sup>2</sup> Основа государств (лат.).



тельное отношение общества. Коммерческий бойкот. Разорение. Перегоняемый органами надзора из одной местности в другую, оказавшись снова на дне, он как-то приобрел у приятеля, с которым впервые столкнулся во время явок в полицию, краденые серебряные ложки. Был пойман и снова предстал перед судом. Случилось это в маленьком прусском городке. Закон давал судьям право покарать виновного лишением свободы сроком от трех месяцев до десяти лет. К несчастью Трибшенера, в числе владельцев краденых ложек находились и лица судебного звания, которые и предстали на суде перед своими карающими преступление коллегами в качестве свидетелей. Кроме того, «зуд гуманности» был не в моде во время войны. Мерой наказания суд избрал десять лет исправительной тюрьмы.

Положение заключенных во время войны было несладко. Пища и находившихся на воле была сокращена до минимума, тем более – в тюрьме. Зато и охрана также. Трибшенер был человек ловкий – ему удалось бежать. Однако в Гамбурге полиция нашла на его след и после длительной погони по крышам арестовала его. Упав во время погони, он с переломом костей попал в госпиталь. Снова бежал и снова был арестован. Газеты полны были красочных рассказов о «герое взломов и побегов». Возмущенный гамбургский суд к десяти прусским добавил еще восемь гамбургских лет исправительной тюрьмы.

10 ноября 1918 года революция разбивает двери его тюрьмы. Трибшенер приобретает инструменты, необходимые часовщику, тщетно пытается бежать через закрытую голландскую границу. Его преследуют по всей Германии. Доведенный нуждой до отчаяния, он в эту эпоху послевоенного развала и беспорядка, когда тысячи безнаказанно делают то же самое, опять покупает какое-то краденое добро. На баварско-чешской границе он, этот знаменитый «герой взломов и побегов», попадает в руки баварских властей и приговаривается к относительно мягкому наказанию – дополнительным четырем годам исправительной тюрьмы.

Заработав в общей сложности двадцать два года тюрьмы, после бесконечных переводов из одного места заключения в другое и годичного пребывания в кандалах Трибшенер наконец попадает в вестфальский город Мюнстер. На этот раз счастье улыбается ему. Директору мюнстерской тюрьмы понравился спокойный и искусный заключенный. Он предоставляет ему лучшую работу. Вскоре обнаружили необычайные способности арестанта Трибшенера: он умеет пустить в ход такие часы, починить которые не берется ни один мастер во всей стране. Вскоре его камера становится наиболее популярной мастерской на сотни километров в округности. Директор с удовольствием наблюдает за своим заключенным, вскоре разрешает ему без конвоя ходить в город, закупать материал, выполнять работы. Заключенный Трибшенер ходит по городу, не обращая внимания на многочисленные возможности бежать, связанный благодарностью директору. Подбирает материал, шлифует, сгибает пружинки, пригоняет колесики. Часы на башне мюнстерского собора четыреста лет назад были разрушены анабаптистами. Вот уже четыреста лет, как стрелки их неподвижны. Арестант Трибшенер, обывателям на радость, а специалистам на удивление, пускает их снова в ход.

Соборные часы города Мюнстера производят шум. Этот шум проникает в печать. Печать широко разевает рот, расследует дело часовых дел мастера Трибшенера, плачется о его судьбе, восхваляет его искусство, требует его помилования. Пруссия объявляет его помилованным, Гамбург тоже.

Но предшественник Кленка не избавил человека, помилованного Пруссией и Гамбургом, от баварской кары, ибо он пожелал продемонстрировать силу баварской юстиции. Таким образом, помилование часовщика свелось к переводу из относительно приятной тюрьмы в Мюнстере в менее приятную тюрьму в Баварии. И вот теперь Гейер, в качестве баварского защитника Трибшенера, явился к Кленку, чтобы указать ему на единодушное мнение всей страны и просить министра отменить решение его предшественника.

Кленк был очень любезен с доктором Гейером. Предложил ему особенно удобное кресло, с подчеркнутым вниманием справился о его здоровье, спросил, не слишком ли он много берет

на себя, уже сейчас принимаясь за свои дела. Гейер, от досады еще больше бледнея, ответил, что преувеличенная радость многих, по-видимому, не вполне соответствует незначительности происшедшего с ним несчастья. Кленк в ответ своим могучим голосом заметил, что – да, зло-радство сладостная вещь, и тут же спросил, разрешит ли ему господин депутат позавтракать в его присутствии. После чего он приказал дежурившему в приемной слуге принести ливерные сосиски и его любимое шерри. Адвокат довольно резко отказался принять участие в завтраке.

Что касается дела часовщика Трибшенера, то прежде всего министр юстиции высказал несколько общих замечаний, не без иронических выпадов по поводу теорий адвоката Гейера. Лично он, – сказал Кленк, – сожалеет, когда симпатичного самого по себе человека приходится из политико-юридических соображений держать в тюрьме. Впрочем, ведь тот баварский приговор довольно мягок. Кроме того, никто не может знать, пошло ли бы Трибшенеру на пользу пребывание на свободе. Абстрактные аргументы вроде приведенных Гейером суждений прессы, что здесь, мол, имеет место типичный случай, подлежащий помилованию, на него, Кленка, не производили сильного впечатления. Он дал распоряжение возможно лучше обращаться с Трибшенером. Ему лично, как он уже сказал, этот человек даже нравится. Он предполагает дать ему кое-какую работу. Починка часов мюнстерского собора – ловкая штука. Но и в одном из бывших вольных городов баварской Франконии есть башенные часы, остановившиеся еще во время Тридцатилетней войны. У него есть снимок с этих часов. Не желает ли доктор Гейер взглянуть на него? Вот Трибшенеру и будет дана возможность показать свое искусство.

Адвокат слушал молча, полный затаенного бешенства. Ему тоже пришлось видеть заключенного Трибшенера. Это был спокойный человек, худощавый, с густыми и такими светлыми волосами, что трудно было понять, белокурые они или седые. «Должно быть, седые», – подумал сейчас адвокат. Доктор Гейер понимал, что такое человечность и справедливость, но плохо понимал отдельного человека. Не было ничего невозможного в том, что Кленк прав, и это сознание наполняло адвоката бессильным бешенством. Он не ответил на самоуверенные речи Кленка, отстранившись от дальнейшего обсуждения вопроса почти невежливым пожатием плеч.

Кленк никак не реагировал на это и спокойно сидел, выжидая, нет ли у адвоката еще других дел к нему. И действительно, адвокат, с невероятным усилием сжимая рукоятку палки и этим пытаясь удержать в покое нервно дергающиеся пальцы, вдруг неожиданно и как-то беспомощно спросил, имеет ли в настоящее время какие-нибудь шансы на успех просьба о помиловании доктора Крюгера? Кленк ответил задумчиво, очень вежливо, что он и сам уже задавал себе этот вопрос. Оппозиционная печать – он должен откровенно признаться в этом господину адвокату – чрезвычайно осложнила его положение в отношении этого дела. Дело сейчас так раздуто, что он, Кленк, не желал бы предпринимать что-либо без согласия на то всего кабинета министров в целом. Этот огромный костлявый человек с самодовольными карими глазами на удлиненном, гладко отполированном лице глядел с добродушной насмешкой на тщедушного, изможденного адвоката, щеки которого от еле сдерживаемой ненависти покрылись лихорадочным румянцем.

Слуга подал пышные серовато-белые сосиски и бутылку шерри. Министр юстиции заметил, что ему, как государственному чиновнику, сказать господину депутату больше нечего, но что он охотно продолжит эту беседу просто как человек с человеком. Он просит разрешения переодеться. В этой черной штучке он чувствует себя неудобно. И, скинув сюртук, он надел свою любимую суконную куртку. Затем, еще раз предложив адвокату попробовать сосиски, налил себе стакан душистого желтоватого вина, обстоятельно, не торопясь, набил трубку. Итак, он читал превосходную статью господина Гейера в «Монатсхефте». Практической пользы мало от таких абстракций и теоретических построений. Все же на охоте, утром в ванне, во время дальних поездок на автомобиле он иногда пробует так, ради спорта, теоретически осмыслить вопросы, давно уже разрешенные его совестью и интуицией. Он высосал мясо из кожуры

сосиски, обтер губы, медленно, с наслаждением отпил несколько глотков вина. Откровенно говоря, у него иногда бывает впечатление, что доктор Гейер своими ядовитыми формулировками метит в него, Кленка. Но эти выпады не попадают в цель. Он признает, что в его положении, живя в этой части нашей планеты, не всегда легко вынести правильное решение. Бавария – или всегерманский союз, государство – или право, право – или справедливость. Можно сказать: сколько букв, столько и проблем. Но для того чтобы разобраться в этих проблемах, ему не к чему даже искать поддержки в католической философии права, единственной философии, которая в эту эпоху политики насилия имеет смелость не подчиняться безусловно грубой силе фактов.

Доктор Гейер, волнуясь и тяжело дыша, не мог больше усидеть на стуле. Поднявшись, он, опираясь на палку, заковылял по комнате, прислонился наконец в какой-то странной, неестественной позе к стене, словно приклеенный к ней. Не переставая есть и пить, министр продолжал спокойно и беззаботно излагать свои взгляды. Он, Кленк, с уверенностью естествоиспытателя знает: то, что он делает, полезно для Баварии. Это подходит к стране, это хорошо, как хороши ее леса, хороши ее люди, ее электричество, ее кожаные штаны, ее картинные галереи, ее карнавалы и пиво. Это органическая, баварская справедливость. Право и этика, как утверждает некий северогерманский философ по имени Иммануил Кант, абсолютны и безусловны. А вот он, Отто Кленк из Мюнхена, убежден в том, что право и почва, право и климат, право и народность составляют единое и нераздельное целое. Не исключена возможность – это он готов признать как человек, не как государственный чиновник, – что Крюгер вовсе не лжесвидетельствовал. Он вообще по многим соображениям считает сомнительным делом становиться на защиту присяги, и Крюгеру он вполне сочувствует. С точки зрения чистого правосудия, может быть, было бы правильно, если бы он, Кленк, пошел к Крюгеру и заявил ему: «Ты, Мартин Крюгер, вреден для Баварии, и я, к сожалению, принужден застрелить тебя». При существующем положении вещей он, Кленк, твердо убежден, что его баварская справедливость – лучшая, какую только можно было бы здесь применять. Он принимает на себя ответственность. Справедливость – основа государств. Но именно поэтому справедливость в каждой стране должна быть соткана из того же материала, что и сама эта страна. Он с полным убеждением и чистым сердцем представляет здесь юстицию своей страны. И в то время как доктор Гейер, отступая все дальше, почти вдавился в стену, министр закончил: пусть господин депутат не беспокоится. Он, Кленк, спит совершенно спокойно, в то время как доктор Крюгер и часовщик Трибшенер томятся за тюремными стенами.

Он так и сказал: «томятся»; он, причмокивая, ел сосиску, сидя верхом на стуле в своей суконной куртке, и его веселые карие глаза доброжелательно и фамильярно глядели в толстые стекла очков, из-за которых голубые и зоркие глаза адвоката следили за каждым его движением. Гейера, прислушивавшегося к словам, грубо и самоуверенно вырывавшимся из плотных, жующих губ высшего представителя права в этой стране, охватило такое чувство отвращения и стыда, что он проглотил рвавшиеся из его уст фразы. Он заметил, что не чувствует еще себя достаточно здоровым для ведения философского спора, поблагодарил господина министра юстиции за полученные разъяснения, вышел, тяжело опираясь на палку. Кленк, уже не улыбаясь, отодвинул тарелку с остатками еды и принялся за свои бумаги.

## 6. Нужны законные основания

Некто Георг Дурнбахер обратился к Иоганне Крайн с просьбой произвести графологический анализ одного почерка. Иоганне этот господин показался несимпатичным. Она отказалась, сославшись на перегрузку работой. Г-н Дурнбахер настаивал. В конце концов Иоганна согласилась и составила характеристику. В осторожных выражениях она упомянула об отрицательных качествах, усмотренных ею из образца почерка, и определила писавшего как человека с чрезмерно изоощренным воображением, склонного обманывать не только других, но и самого себя.

Как выяснилось затем, просьба о составлении характеристики исходила от правительственного советника Тухера. Пламенно преданный старому режиму и, следовательно, противник Крюгера и Иоганны Крайн, он и характеристику заказал не для того, чтобы действительно проанализировать свой почерк, а в целях проверки знаний Иоганны Крайн. Результат анализа, в вежливой форме характеризовавший крупного государственного чиновника как мошенника, убедил его в том, что так называемое искусство Иоганны не что иное, как шарлатанство. Советник счел необходимым возбудить против Иоганны дело о шарлатанстве. Статьи, соответствующей такому преступлению, в германском законодательстве не было. Тем не менее баварская полиция оставляла за собой право возбуждать преследование за поступки, обозначаемые этим термином. Таким образом против Иоганны было возбуждено дело о шарлатанстве, и ей, впредь до решения суда, запрещено было заниматься графологической работой.

Доктор Гейер, когда Иоганна рассказала ему о случившемся, отнесся к ее рассказу вяло, без видимого интереса. Не раз во время беседы он снимал очки, шурился, закрывал глаза. Это дело, объяснил он, как и все, относящееся к ней и Мартину Крюгеру, давно уже из области юстиции перешло в область политики. Поэтому для разрешения этих вопросов остаются лишь те пути светских связей, о которых он ей говорил. Впрочем, он не предполагает, что ее всерьез решили преследовать. Это только предостережение: ей хотят показать, что имеют против нее оружие на тот случай, если она не будет вести себя достаточно тихо. Если она будет хорохориться, то вместо пустякового дела о шарлатанстве могут возбудить дело о лжесвидетельстве. В пределах, на которые распространяется власть доктора Кленка, этого бессовестного насильника (лицо Гейера болезненно передернулось), нет ничего невозможного!

– Остаются, следовательно, одни «светские связи», – задумчиво резюмировала Иоганна.

Она давно уже знала наизусть список из пяти имен, составленный для нее Гейером во время его болезни. Но люди из этого списка, их лица, знакомые ей по портретам, их жизнь, их среда – все это было недостижимо для нее. Она не знала, как взяться за это дело. И только в памяти ее каждый раз снова и снова всплывало лицо присяжного Гессрейтера.

Доктор Гейер молчал. Он вновь, но на этот раз почти с досадой почувствовал сходство между этой высокой девушкой и той, давно умершей.

– Да, – произнес он наконец, – светские связи. Довольно расплывчатый совет. Но другого дать вам не могу.

Иоганна злилась на доктора Гейера. Ей говорили, что лучшего адвоката для ее дела не найти. Но она находила его вялым, нерешительным. Она поднялась. Большая, крепкая, стояла она перед доктором Гейером, глядя на его слегка искаженное нервной гримасой лицо и рассказывая о препятствиях, которые ей чинят. Посылки Крюгеру возвращаются назад или передаются ему, когда содержимое их успевает испортиться. Разрешение видеть его она получает лишь с бесконечными трудностями. Каждый раз ее спрашивают, на каком основании она оказывает ему поддержку.

– Да, на каком основании? – хмуро улыбаясь, переспросил адвокат. – Быть может, просто по праву человеколюбия или вашей дружбы с Крюгером? Таких оснований для баварских

властей недостаточно. Связь между мужчиной и женщиной, для того чтобы быть признанной властями, должна быть узаконена в отделе записи браков.

Иоганна закусила верхнюю губу. Тонкая насмешка адвоката задела ее. Его поза, жидкая рыжеватая борода, манера шурить глаза – все это раздражало ее.

– Я обвенчаюсь с ним, – сказала она наконец.

Помолчав, адвокат заметил, что для этого придется преодолеть ряд трудностей. Точных сведений о необходимых формальностях и о тех препятствиях, которые могут ей встретиться на пути, у него нет. Иоганна попросила его немедленно и с максимальной энергией предпринять все необходимое.

Оставшись один, Гейер откинулся на спинку стула. Красноватые веки его были опущены. Еще резче обозначилась неприятная улыбка, обнажив крепкие желтоватые зубы. Правда, он убедил самого себя в том, что все, касавшееся Эриха, раз и навсегда зачеркнуто, ликвидировано. Но оно не было ликвидировано, и, возможно, было бы лучше, если бы он сказал следователю о том злосчастном лице, которое на долю секунды мелькнуло перед ним тогда, когда его ударили и он упал.

Адвокат доктор Гейер за последнее время изменился. Он меньше старался владеть своими нервами, давал волю своему раздраженному, полному иронии красноречию. Все заботы о пище, квартире, даже заботу о своих денежных делах он предоставил экономке Агнесе. Временами его охватывала страшная усталость. Тогда он сидел с потухшим взором, весь опустившись. Но обычно такие приступы быстро проходили. Тогда он снова заговаривал о том, что следовало бы бросить практику, пожалуй даже и парламентскую деятельность, и ограничиться впредь лишь литературной работой.

Последствия ли нападения так повлияли на доктора Гейера? Нет, ведь он и раньше знал, что его деятельность не безопасна, и ожидал даже худшего. То, что вызвало в нем такую перемену, должно быть, таилось глубже. Это было новое откровение, следствие внезапно брошенного взгляда.

Это был взгляд в доверчивые глаза доктора Кленка, взгляд на его мощный жующий рот. Это был взгляд в душу грубо обнаженного насилия, и он произвел на доктора Гейера потрясающее впечатление. После той беседы он надолго замкнулся в себе, и его бдительный взор погас. Он проверял, подводил итоги и убеждался, что строил на песке. Правда, он давно знал о таком положении вещей, произносил на эту тему речи, высказывал по этому поводу остроумные, глубокие мысли. Но видеть беззаконие собственными глазами ему пришлось теперь впервые. Теперь он понял: какое дело ему до Крюгера, какое дело ему до часовщика Трибшенера? Все триста случаев, приведенных в его книге «История беззаконий в Баварии», как бы четко, ясно и понятно даже для глупцов ни были они отпрепарированы, не имели никакого значения. Такими простыми средствами нельзя было подорвать «национальную юстицию» доктора Кленка.

Он, Зигберт Гейер, должен бороться тем же оружием, что и Кленк. Он тоже не будет больше интересоваться судьбой отдельной личности. Сентиментальностью было с его стороны стремление помочь отдельному человеку. Самому беззаконию попытается он нанести удар.

В глубине души он знал: поедет ли он в Берлин или даже в Москву во имя своих идей – символом насилия и беззакония для него лично навсегда останется один образ: маленькие, самодовольные глазки на грубом красновато-смуглом лице, крепкий жующий рот и суконная куртка.

Адвокат весь съежился в своем уютном кресле. Наконец усилием воли овладел собой. Кряхтя, достал связку бумаг: «История беззаконий в Баварии от заключения перемирия 1918 года до наших дней. Случай № 237».

## 7. Господин Гессрейтер ужинает в Мюнхене

Иоганна Крайн стояла на трамвайной остановке в ожидании голубого вагона, который должен был отвезти ее в Швабинг, к г-ну Гессрейтеру. Был туманный и прохладный вечер. В витрине магазина она при свете дуговых фонарей увидела свое отражение: вопреки моде, почти не напудренное и совсем не накрашенное лицо.

Кто-то прошел мимо, поклонился вежливо, безучастно. Иоганна не могла вспомнить хорошенько имя. Это было лицо, какое в те времена носили многие представители господствующего класса, – умное, под широким лбом чуть-чуть сонные, осторожные глаза. Лицо, знавшее, как подвержены моде все суждения в эту эпоху, как они неустойчивы. Носители таких лиц, даже если считали дело Крюгера достойным жалости и гнева, отказывались тем не менее от гнева и жалости, ибо таких дел ведь встречается слишком много. Иоганна это знала, она знала свет и жизнь, но понять этого не могла. Потому что сама она, как ни будничным становилось горе, навлекаемое на людей политизированной юстицией тех лет, ощущала его не менее остро. Возмущалась, все вновь и вновь вступала в бой.

Подошел нужный ей трамвай. Она уселась в уголок, машинально предъявила кондуктору билет, задумалась. Хотя Гессрейтер и не принадлежал непосредственно к тем пяти «могущественным», которые могли извлечь Мартина из тюремной камеры, все же он был подходящим для ее дела человеком. Разве, когда в минуты упадка духа она мысленно перебирала своих многочисленных знакомых, перед ней не всплывало всегда его лицо? То лицо, которое она увидела во время своих мучительных показаний в большом, переполненном зале суда. Удивленное лицо, даже несколько глупое от удивления. Но затем все же на этом лице раскрылся маленький плотоядный рот и оградил ее от грязного вопроса прокурора.

Да, она поступила правильно, позвонив ему по телефону и приняв без церемоний его нерешительное приглашение поужинать у него. Сейчас, сидя в углу вагона, она испытывала некоторое волнение. Ужин у этого странного г-на Гессрейтера был для нее чем-то вроде дебюта, вступления на новый для нее путь. До сих пор, встречаясь с людьми, она говорила с ними на деловые, специальные темы или разговаривала просто ради удовольствия. Теперь она стояла перед необходимостью так, здорово живешь, потребовать чего-то от совершенно чужого человека. Рано привыкшая к самостоятельности, она не любила признаваться, что не может одна справиться с каким-нибудь делом. Неприятной штукой были эти самые светские связи. Как же они создавались? Как можно было не платить услугой за услугу? Она пускалась в путь с целью создания этих связей, словно в неведомую страну в погоне за приключениями.

Мартин Крюгер нередко говорил, что она дурно воспитана. Это было, пожалуй, довольно правильно. Она вызвала в памяти беспорядочный уклад жизни в доме отца, у которого провела большую часть юности. Скорее она, видит бог, воспитывала этого вспыльчивого, высокоодаренного человека, чем он ее. Занятый, вопреки здравому смыслу, воплощением в жизнь идей и планов, для которых время еще не созрело, он не находил досуга для таких второстепенных вещей, как хорошие манеры. А мать... Господи боже мой! Ленивая, интересующаяся только мещанскими сплетнями, она время от времени делала вдруг судорожные попытки привить Иоганне собственные, ею самую придуманные манеры, чтобы затем так же быстро отказаться от них. Только на пользу воспитанию Иоганны послужил поздний второй брак матери с владельцем колбасной Ледерером, давший Иоганне повод окончательно порвать с ней. С ужасом вспоминала она, как жила эта стареющая женщина, вспоминала ее вечные знакомства с бесчисленными любительницами сплетен, ее склоки, ее праздность, ее «дела», ее жалобы. Нет, многому у нее научиться нельзя было. О воспитании тут трудно было говорить.

Иоганна поглядела на ногти своей широкой, грубоватой руки. Ногти были не очень-то холеные. Однажды она предоставила с большой неохотой свои руки в распоряжение мани-

кюрши. Ей было противно позволить постороннему человеку подрезать, подтачивать, красить ее ногти. Все же им не следовало быть такими грубыми и четырехугольными.

Она доехала до нужной ей остановки, прошла еще несколько минут пешком по плохо освещенным улицам. Но вот и дом г-на Гессрейтера, укрывшийся за каменной оградой и старыми каштанами на краю Английского сада. Низкий старомодный дом, должно быть построенный каким-нибудь придворным в конце восемнадцатого века. Слуга провел ее по запутанным коридорам. Подчеркнуто старомодный в смысле архитектуры, дом в то же время был снабжен всеми современными удобствами. Своеобразное здание показалось Иоганне немного странным и в то же время приятным.

Г-н Гессрейтер встретил гостью сердечно и многословно, крепко пожимая ей руки. У себя дома он казался еще представительнее и изящнее. Он подходил к своему дому, как рак к своей скорлупе. Этот человек с мясистым лицом, лукаво и томно глядя на нее карими глазами, сообщил, что у него есть для нее сюрприз. Но прежде всего нужно поужинать.

Он непринужденно болтал, вплетая в свою речь дурашливые, любезные шутки. Он говорил на том же диалекте, что и она, употреблял те же слова. Они хорошо понимали друг друга. Он рассказывал о своем керамическом заводе и о том, что он не вполне удовлетворен им. Прекрасно было бы производить одни лишь предметы искусства. Но люди не хотят этого, не дают человеку проявить свою волю. Вообще слава Мюнхена как города искусств – сплошное надувательство. Как, например, они опять обезобразили Галерею полководцев! Он все время жаждал узнать, что скрывается за лесами, заслонявшими заднюю стену. Теперь все открылось: ее убрали отвратительными желтыми жестяными щитами, украшенными железными крестами, – на каждую «утраченную во время войны область» по щиту. А на щиты навесили пестрые венки. Словно мало им было изуродовать прекрасное строение важно выступающими львами и Памятником армии! Он добрый мюнхенец, но с этим варварством он не может согласиться. Сейчас, например, он носит с планом – хотя в деловом отношении это никаких выгод не сулит – организовать на своем заводе выпуск ряда очень оригинальных вещей работы молодого, никому еще неизвестного скульптора. В числе других – серию «Бой быков». Несколько позднее он в разговоре коснулся и процесса Крюгера. Оказалось, что во время процесса он уловил и тщательно запомнил ряд мелких, не замеченных ею черточек, которые теперь мог привести ей, словно демонстрируя их сквозь увеличительное стекло.

В конце ужина, составленного г-ном Гессрейтером с умением знатока, хозяина срочно вызвали к телефону. Он вернулся несколько смущенный. Одна милая и пользующаяся его большим уважением приятельница, как сообщил он Иоганне, предполагает еще сегодня приехать к нему с компанией друзей. Этой даме, проводящей сейчас большую часть времени в своем поместье на берегу Штарнбергского озера, он обещал сюрприз – тот же самый, что и Иоганне. Зовут эту даму – г-жа фон Радольная. Он надеется, что фрейлейн Крайн ничего не будет иметь против этих новых гостей. Иоганна, не колеблясь, ответила, что охотно готова остаться. Она поглядела на г-на Гессрейтера, нашла, что наступило время подойти к цели, не стесняясь рассказала ему о своем намерении завязать и использовать светские связи. Г-н Гессрейтер, сразу увлекшись, замахал руками, словно загребая ими воздух. Светские связи? Замечательно! Для этого он самый подходящий человек! Он рад, что она пришла к нему. Очень удачно, что он сейчас может познакомить ее с г-жой фон Радольной. Дело Крюгера находится в таком положении, при котором можно всем сердцем и умом принять в нем участие. Оно, если можно так выразиться, из области политической игры перешло в область человеческую.

Он все еще рассуждал на эту тему, когда появилась г-жа фон Радольная со своей компанией. Пышная, спокойная, уверенная в себе, она словно заполнила собой комнату. Без сомнения, она всегда и всюду сразу оказывалась неоспоримым центром внимания. То, как она несколько холодно, не стесняясь, испытующе оглядела Иоганну, не показалось девушке обидным. Катарина со своей стороны, с удовольствием отметив впечатление, произведенное ею на

Иоганну, осталась довольна и уселась около нее. Она знала, как тяжело было завоевать себе место в этом большом и опасном мире. Она вышла из низов, создала себе положение, чувствовала себя уверенно, но далось ей это нелегко, и до сих пор она всегда радовалась, если смелая женщина не давала сломить себя. Она, разумеется, всей душой и безоговорочно сочувствовала методам, применяемым господствующим классом. Однако, завоевав себе положение, она умела, сталкиваясь непосредственно с частным случаем, проявлять терпимость с такой же простотой и естественностью, с какой была нетерпима, когда дело касалось общих положений. С интересом и полным пониманием слушала она историю трудного детства Иоганны, ее разрыва с матерью, ее работы, ее связи с Мартином Крюгером. Обе женщины – широколицая, с решительными серыми глазами, и пышная, с медно-красными волосами и сытым, многоопытным взглядом, – казались такими дружными, так медлительно и уверенно обменивались произносимыми протяжно, по-баварски словами, что склонный к оптимизму Гессрейтер уже не сомневался в конечном успехе Иоганны.

Постепенно, не упуская при этом ни одного слова г-жи фон Радольной, Иоганна присматривалась и к остальным гостям. Человек с добродушным, изрезанным жесткими складками лицом, походивший на крестьянина в смокинге, – это, значит, и есть художник Грейдерер. Испещренная рубцами, мопсообразная физиономия писателя Маттеи была ей знакома по иллюстрированным журналам. Розовощекий господин в пенсне, с седеющей бородой, – конечно, доктор Пфистерер, также писатель, а старик, с азартом в чем-то убеждавший его, – тайный советник, профессор Каленеггер. Хотя и склонный иногда к другим выводам, Пфистерер слушал его внимательно, почти благоговейно. Чрезвычайно интересно было наблюдать, как тайный советник все законы естествознания сводил исключительно к истории города Мюнхена, с маниакальным упорством отказываясь признавать значение таких фактов, как самодурство коронованных особ, рост транспорта, изменения в области хозяйства. Семь основных биологических принципов установил он, семь основных типов, на свойстве которых он строил историю города Мюнхена. Иоганна все вновь и вновь поглядывала в сторону сухощавого старика с огромным горбатым носом, извлекавшего с напряжением, из самой глубины горла закругленные, готовые к печати фразы.

Каленеггер как-то внезапно умолк. В комнате неожиданно стало совсем тихо. Среди общего молчания г-н Гессрейтер заявил, что теперь он наконец покажет им обещанный сюрприз, повел сгорающих от любопытства гостей в небольшой, увешанный картинами кабинет и зажег там свет. На одной из ровных серых стен, среди немногих других картин, гости увидели автопортрет Анны Элизабет Гайдер. Рассеянный и в то же время напряженный взгляд умершей девушки был устремлен в продуманно и красиво освещенную комнату, на картину, висевшую на противоположной стене, в сочных тонах изображавшую верхнебаварский крестьянский дом. Не слишком стройная шея была как-то трогательно-беспомощно вытянута. Грудь и бедра расплывались в беловатом нежном тумане.

Охваченная двойственным волнением, стояла Иоганна перед портретом. Вот она, эта картина, причина стольких осложнений, всегда вызывавшая в ней неприязненное чувство. Спокойная, наивная и отталкивающая, висела она на стене. Стоявший около картины г-н Гессрейтер с добродушной и торжествующей улыбкой указывал на свое приобретение. Что, собственно, хотел доказать этот странный человек? Для чего он приобрел эту картину? Зачем он показывал ее сейчас? Иоганна переводила вопросительный взгляд с картины на г-на Гессрейтера и с г-на Гессрейтера опять на картину. Она размышляла торопливо и напряженно, но не могла прийти к определенному выводу. Долго молча стояла она перед портретом. Остальные гости тоже были смущены. Г-жа фон Радольная, подняв брови, глядела на вызвавшее столько шума и разговоров полотно. Она умела чувствовать искусство и отнюдь не была склонна безоговорочно подчиняться мнению газет. Но от портрета веяло чем-то неприличным, запретным – это было неоспоримо! У нее на такие вещи было безошибочное чутье. Несмотря на это, или,



может быть, именно поэтому, картина представляла собой значительную ценность. Но следовало ли человеку с таким видным положением в мюнхенском обществе, как Пауль, именно сейчас приобретать такую картину? Это вызовет неудовольствие. Точно он специально хотел сказать: «а все-таки» или «именно поэтому»! Точка зрения, понятная ей, как баварке, но не вызывающая в ней сочувствия.

Заговорил только Грейдерер. Он громко и грубовато-доброжелательно отозвался о картине. Старик Каленеггер безучастно сидел в своем кресле. Это не относилось к его специальности. Он сразу словно погас, казался бесконечно старым, почти древним. Равнодушное, лишённое настоящего понимания одобрение г-на Пфистерера не вылилось в слова. В конце концов умолк и художник Грейдерер. Около минуты длилось молчание. Слышно было только тяжелое дыхание обоих писателей. Все несколько возбужденно искоса поглядывали на Иоганну Крайн, смутно ощущая, что в самом факте присутствия девушки в этом кабинете, перед этим портретом таится какая-то скользкая двусмысленность. С полного лица г-на Гессрейтера медленно исчезало выражение добродушной гордости. Его щеки обвисли, создавая впечатление беспомощности.

Внезапно среди царившей в комнате тишины раздался злобный, ворчливый голос доктора Маттеи. Все это черт знает какая пакость, – заявил он. Даже и противники, по его словам, не осмеливаются отрицать способностей баварцев в области изобразительных искусств. Баварское барокко, баварское рококо, мюнхенская школа ваятелей, возглавляемая вейльгеймцем Крумпером. Готика Иерга Гангхофера или Мелескирхнера. Братья Азам. А также – разумеется! – классика эпохи Людвига I. Это законченно, прилично, исконно. А поверх всего этого теперь готовы посадить этакий вздор, этакую дрянь. Черт знает какая пакость!

Все чувствовали, что эти грубые слова вырываются прямо из глубины души доктора Маттеи. Все присутствовавшие баварцы понимали таившуюся в этих словах любовь писателя, из уст которого они привыкли слышать только желчные выпады, к его, к их родному краю. После своей вспышки писатель Маттеи с некоторым смущением, но злобно и упрямо уставился в пространство. Писатель Пфистерер покачал головой, успокоительно приговаривая: «Ну, ну». Г-н Гессрейтер в мучительной растерянности поглаживал выхоленные бакенбарды. Он подумал о предметах, производимых его керамическим заводом; о бородатых гномах и гигантских мухоморах, особенно охотно выпускаемых его мастерскими. Он натянуто улыбнулся, делая вид, что принимает злые слова доктора Маттеи за остроумную шутку.

Всем было приятно, когда в это тягостное мгновение в комнату вошел г-н Пфаундлер. Этот крупнейший представитель «увеселительной промышленности» был приглашен сюда г-жой фон Радольной. Он привез с собой также русскую даму, о которой уже несколько месяцев кричал на всех перекрестках. Он представил ее присутствующим: Ольга Инсарова. И произнес это имя так, словно оно было известно на всем земном шаре. Дама оказалась просто худенькой, хрупкой женщиной с подвижным лицом, приятными, несколько искусственными движениями и скользящим взглядом слегка раскосых глаз. Доктор Маттеи сразу же обратил на нее свое благосклонное внимание, заявив, что живая танцовщица ему милей мертвой художницы, и все, вздохнув с облегчением, вернулись в библиотеку.

Иоганна с удивлением увидела, с какой безудержной жадностью доктор Маттеи завладел русской танцовщицей. Неуклюжему человеку с грубым, исполосованным шрамами лицом нелегко было противостоять гибкому юмору маленькой женщины, которая ловко ставила его в тупик и много смеялась, показывая влажные мелкие зубы. Миловидная молодая особа обнаруживала втрое больше остроумия, чем он, и безжалостно издевалась над своим собеседником.

– Ну теперь Маттеи – конец! – добродушно констатировал Пфистерер.

Г-жа фон Радольная и Иоганна уже не разговаривали. Все наблюдали за беспомощными попытками доктора Маттеи парировать сыпавшиеся на него удары. Тот попытался увиливать, перевести разговор в более привычную для него плоскость, неожиданно накинута на Пфисте-

рера, сделав резкий и убедительный выпад против розового оптимизма популярного писателя. Постарался задеть его за живое. Пфистерер, снискавший себе большую славу, никогда не мог понять, почему некоторые литераторы, чьи таланты он признавал всей душой, никак не хотели считаться с его солнечным мирозерцанием, и добродушного человека это мучило, кололо в самое сердце. Почему ему отказывали в праве нести в народ свои утверждающие жизнь рассказы, доставлять свет и радость всюду – от королевского дворца до шалаша углекопа? Он старался понять своих противников, уяснить себе их точку зрения. Но прямота и честность были здесь не к месту. Грубость, с которой доктор Маттеи напал на него, граничила с подлостью. Его лицо налилось кровью. Крепкие, плотные, стояли друг против друга оба писателя, рыча, словно разъяренные звери. Инсарова улыбалась, с любопытством, чуть насмешливо, с мальчишеским озорством облизывала язычком уголки губ. Но Иоганна со свойственной ей ровной сдержанностью вступилась за Пфистерера, и он быстро овладел собой. Его возмущение превратилось в грусть. Энергично тряс золотистой кудрявой головой, протирая запотевшие стекла пенсне, он стал жаловаться на злобные, разрушительные инстинкты некоторых людей.

В то время как Маттеи снова обернулся к подвижной русской танцовщице и с явным удовольствием уставился на нее своими крохотными, злобными глазками, Пфистерер подсел к Иоганне Крайн. Эта крепкая, добрая баварская девушка походила на героев его книг – такая же жизнерадостная, сердечная. Иоганна тоже чувствовала себя с ним приятно. Реальная жизнь, конечно, была совсем иной, чем в его книгах, и без золотого обреза. Но Иоганне было понятно, что многие люди заполняли свой досуг такими книгами, что горы казались им такими же лакированными, а горцы – такими же суровыми и честными, какими они казались Пфистереру. Она и сама не раз с удовольствием читала романы Пфистерера. Несомненно, он пользовался влиянием, к нему благоволители при всех германских дворах. Он, наверно, мог быть ей полезен. Она заговорила с ним о деле Крюгера. Постаралась разъяснить ему, осторожно, по возможности все смягчая, что здесь имел место произвол. Он, ничего не понимая, тряс своей большой золотистой головой. Он был поклонником старых, устойчивых форм; глубоко сожалел о революции. Слава богу, его родные баварцы были на правильном пути восстановления старого порядка. Немножко доброй воли – и все образуется к общему удовольствию. Тому, что она рассказывает о какой-то печальной судебной ошибке, он – пусть она не сердится – с трудом может поверить. Он был очень любезен, полон сочувствия, задумчиво покачивал лохматой головой. Не следует так вот сразу объявлять своего ближнего негодяем. Недоразумения. Ошибки. Он займется этим делом. Прежде всего обсудит эту историю с кронпринцем Максимилианом, с этим чудесным, великодушнейшим человеком.

Г-н Пфаундлер рассказал, что кронпринц зимой проведет некоторое время в Гармиш-Партенкирхене. Все едут в Гармиш. Агитация, проведенная им, Пфаундлером, в пользу этого курорта, приносит плоды. Увеселительное заведение «Пудреница», которое он собирается там открыть, не оставляет желать лучшего. Художники – господин Грейдерер и молодой автор скульптурной серии «Бой быков» – превзошли самих себя. Изящество восемнадцатого века – и при этом уютно! Облицовочные плитки с керамического завода господина Гессрейтера – прямо изумительны! Впервые в Германии в «Пудренице» выступит Инсарова. Г-н Пфаундлер говорил тягуче, негромко, но мышинные глазки под шишковатым лбом поблескивали такой фанатической убежденностью, что это придавало особенную силу его словам. Назвав имя танцовщицы, он поклонился ей – слегка, небрежно, по-хозяйски беззастенчиво, отчего ее лицо мгновенно утратило свою озорную живость, побледнело и потускнело. Да, – закончил Пфаундлер, – Гармиш в эту зиму будет европейским центром.

Иоганна подумала, что и в ее интересах, вероятно, было бы отправиться в Гармиш. Светский зимний курорт. До сих пор такие штуки были ей безразличны, пожалуй даже противны. Она поглядела на свои четырехугольные, совсем не холеные ногти. Люди, занятые работой,

люди с осмысленным существованием – там не к месту. Кроме того, это стоит, должно быть, кучу денег, а она из-за запрещения заниматься своей работой и так скоро сядет на мель.

Гости стали прощаться. Когда Иоганна, в отличие от остальных, собралась идти пешком, г-н Гессрейтер настоял на том, чтобы проводить ее. Гордо шагал он рядом с ней. Она произвела впечатление, продвинула свое дело. Он рассматривал это как свой личный успех. Весь он, тяжеловатый, с плавными движениями, был воплощенной уверенностью в будущем. Иоганна насмешливо и скептически убавила девять десятых его надежд, но, готовая удовлетвориться и одной десятой, весело шла рядом с ним. Его массивность казалась ей неплохой защитой.

Во время довольно долгого пути он болтал о всевозможных посторонних вещах, перешел наконец, после бесконечных словесных маневров, к вопросу об идиотском запрещении, наложенном на ее профессиональную работу. Заметил, что это, должно быть, создает для нее материальные затруднения. Он полагает, что без особой надобности человек, очевидно, не станет анализировать мазню всякого там шута горохового. Вспомнив резкие и ясные фразы Жака Тюверлена и наслаждаясь медлительным и осторожным негодованием своего спутника, Иоганна, немного помолчав, ответила, что – да, покупать картины, как это делает г-н Гессрейтер, ей не по средствам. Затем, без видимой связи, добавила, что во время рассказа г-на Пфаундлера у нее мелькнула мысль о поездке зимой в Гармиш. Г-н Гессрейтер выразил бурное одобрение. Гармиш! Это чудесная мысль! Там она может в непринужденной обстановке завязать любые связи, все люди там приветливы и хорошо настроены. Разумеется, ей следует ехать в Гармиш. Пусть она своевременно сообщит ему, когда поедет. Для него будет страшным разочарованием, если она не позволит ему быть ей там полезным. Она может на него положиться: он выполнит все, что она доверит ему, наилучшим образом. При словах «выполнит наилучшим образом» Иоганна слегка вздрогнула, как вздрогнула и тогда, когда он в нужную минуту заговорил о деньгах. Они подошли к ее дверям, и он остановился, держа крепкую руку Иоганны с квадратными ногтями в своей пухлой холеной руке, дружелюбно и настойчиво глядя подернутыми поволокой глазами в ее широкое, простодушное лицо.

Укладываясь спать, Иоганна улыбалась. С улыбкой вспоминала старомодные, приятные манеры фабриканта Пауля Гессрейтера, пыталась изобразить, как он широко, словно загребая воздух, размахивает руками. Окончательно решила ехать в Гармиш. Заснула, улыбаясь.

## 8. Заметки на полях к делу Крюгера

Жак Тюверлен диктовал своей аккуратненькой, чистенькой секретарше очерк, посвященный делу Крюгера. Одетый в одноцветный свободный домашний костюм, он развинченной походкой прохаживался взад и вперед по комнате.

«Мартин Крюгер, – диктовал он, – не по душе правительству. У него взгляды, стоящие в противоречии с характером населения и с методами управления страной. Его установки в вопросах искусства также противоречат нравам и обычаям, милым сердцу консервативного горного племени, населяющего Баварскую возвышенность. То, что эти нравы и обычаи не соответствуют нравам и обычаям остальной Европы, что они основаны на условиях жизни далекого прошлого и потребностях мелких селений или отдельных дворов, патриархальны и поэтому нелогичны и нелепы, – не играет никакой роли. Тот факт, что Крюгер в своей области претворял в действие взгляды, соответствующие более широким и быстрым темпам развития, в то время как кругом культивировались узкие и ограниченные взгляды и формы жизни, все это, разумеется, дает правительству этой косной страны право отделаться от человека с неудобными воззрениями, как от преступника».

Резко звучали в громкоговорителе пронзительные ноты какого-то танца. Приятельница Тюверлена по телефону упрекала его за то, что он заставил ее ждать в ресторане. Он действительно совершенно забыл о ней, но свалил всю вину на свою секретаршу, хотя та и была виновна, так как Тюверлен ничего не сказал ей. Курьер издательства настойчиво требовал корректуру. Он не соглашался уйти: ему было приказано не уходить, не получив гранок. Жак Тюверлен любил шум во время работы. Секретарша терпеливо ждала. Он продолжал диктовать:

«Лучший, более деловой суд назвал бы действительные причины, на основании которых человек признается общественно вредным и, следовательно, подлежащим устранению. Человек поместил в народной картинной галерее произведения искусства, которые данному народу неприятны; его следует устранить и ради устрашения других – покарать. Но почему – и это ложится пятном на баварский суд, – почему карать его не за помещение в галерее хороших картин, а за мнимую связь с женщиной, за ложную присягу, им не принесенную? Почему министр юстиции не заявит прямо и решительно: „Ты нам вреден, ты нам неприятен, ты должен убраться, тебя нужно уничтожить или, по меньшей мере, изолировать“?»

Пришел портной примерить новый смокинг. Курьер издательства ждал. Громкоговоритель хрипел и заливался. Из магазина спортивных принадлежностей звонили, сообщая о получении новых лыж.

«Несомненно, – продолжал диктовать Тюверлен, в то время как портной, с помощью булавок и мела, орудовал вокруг его широких плеч и узких бедер, – на Крюгера падает гораздо большая вина, чем на баварское правительство. Как человек образованный, он должен был знать, что совершает святотатство, приобретая для нынешней Баварии настоящие произведения искусства. Кроме того, ему следовало знать, что, согласно изречению одного истинного мудреца, умный человек поспешно удирает за границу, если его обвиняют в том, что он спрятал к себе в карман Луврский музей. Тем поспешнее следовало ему удрать, если баварский суд обвинил его в том, что несколько лет назад он спал с женщиной, а затем отрицал этот факт. Итак, Крюгера защищать не к чему. Все же остается только удивляться до комизма хитроумным приемам баварских юристов. Даже если допустить, что нельзя было устранить Крюгера, основываясь на настоящих причинах недовольства им, то разве не было бы все же приличнее обвинить его в преступлении из той же области, что и совершенное им, то есть в нарушении обычаев? Но кто же возьмется всерьез утверждать, что обладать женщиной, а затем под присягой отрицать это – поступок, не вполне согласный с местными обычаями?»

Таковы были основные тезисы очерка, которые писатель Жак Тюверлен, прохаживаясь взад и вперед по комнате и давая мимикой указания совершенно отчаявшемуся портному, диктовал секретарше. Он отпустил курьера, заказал по телефону в магазине лыжи, сговорился с обиженной приятельницей о встрече и отправил тезисы своей статьи Иоганне Крайн.

Пробежав глазами эти тезисы, Иоганна потемнела от гнева. Она не подумала о том, что трезвый, деловой Тюверлен, случись с ним нечто подобное тому, что случилось с Крюгером, главную вину стал бы искать в самом себе. Она не поняла, что Тюверлен написал эту статью, чтобы уяснить самому себе свое сложное отношение к этому вопросу, чтобы оправдать себя перед ней и перед самим собой. Статья показалась ей просто циничным издевательством над той борьбой, которую она вела за правое дело. Накануне она обещала Тюверлену встретиться с ним на следующий день. Теперь она решила отказаться от этой встречи, раз навсегда порвать с ним. Но, уже сняв телефонную трубку, Иоганна перерешила: она объяснится с ним начистоту.

На следующее утро у нее была встреча с Гейером. Она рассказала ему о вечере у Гессрейтера, о знакомстве с г-жой фон Радольной, о своем намерении ехать в Гармиш.

– Хорошо, – сказал доктор Гейер. – Это очень хорошо. Светские связи, как я вам говорил. К людям нужно подходить, применяя их собственные средства. Грызться с ними не стоит, так как у них зубы крепче.

Иоганне показалось, что адвокат отделяется общими фразами, словно дело Крюгера перестало его интересовать. Он сидел, закрыв глаза под стеклами очков. Иоганна закусила верхнюю губу, обозлилась. Тюверлен, адвокат... Серьезно делом Крюгера, по-видимому, интересовались только нищие духом. И вдруг Гейер сказал:

– Министр юстиции имперского правительства Гейнродт зимой поедет на две недели на отдых в Гармиш. Если я напишу ему, он примет вас.

Он старался захватить ее своим прежним сосредоточенным взглядом. Но она не дала себя обмануть; взгляд лишь скользнул по ней.

Вечером следующего дня она ужинала с Жаком Тюверленом в ресторане Пфаундлера. Тюверлена удивил ее гнев по поводу его статьи.

– Само собой разумеется, что я стараюсь помочь вам, но это не мешает мне говорить то, что есть. Ведь только полезно видеть все в совершенно ясном свете. Кстати, я недавно имел случай познакомиться с министром Кленком. Необычайно симпатичный человек.

– Он защищает самое несправедливое дело в мире! – проговорила побледневшими губами, гневно глядя на него, Иоганна.

– Ну и что же? – спросил Тюверлен. – Случается, что хорошие люди защищают несправедливое дело.

– Я по горло сыта вашими афоризмами! – резко оборвала его Иоганна, бросая на стол салфетку.

Ноздри ее тупого носа вздрагивали. Удивительно, какие тонкие подвижные ноздри могут быть у такого вот тупого носа. Эта женщина до чрезвычайности нравилась Тюверлену.

– Когда вы говорите, кажется, словно хватаешься за осколки стекла! – продолжала Иоганна. – Вы хуже баварских судов!

Она встала, не кончив есть. Жак Тюверлен также поднялся и спросил, когда он снова увидит ее.

– Я уезжаю на несколько недель в Гармиш, – сказала Иоганна.

– Какое удачное совпадение, – заметил Тюверлен. – Я также намеревался скоро поехать в Гармиш.

Он проводил ее до выхода из ресторана, потом вернулся к своему столу и кончил ужин.

## 9. Серо-коричневый жених

Над рабочим столом заключенного Мартина Крюгера висел стенной календарь; выше, над ним, – распятие, примитивная фабричная подделка под некоторые среднегерманские изображения Распятого, относившиеся к пятнадцатому веку. За этим столом большую часть дня сидел на табурете Мартин Крюгер, с серым лицом и руками, потрескавшимися от постоянного смывания с них клея. Нарезанная бумага, горшок с клеем, фальцовка, шаблон для сгибания дна. Заключенный Крюгер сидел так с утра до обеденного перерыва, затем до прогулки, затем до вечера. Он намазывал клей, клеивал подкладку, сгибал дно, заканчивал кулек.

Поднимая глаза, он видел на высоте двух метров над каменным полом маленькое оконце, а за ним – пять вертикальных и два горизонтальных прута. Под окном на полке – несколько эмалированных сосудов: умывальный таз, мыльница, кувшин, кружка. Время от времени он вставал, прохаживался взад и вперед по тесному пространству камеры – четыре метра в длину, два в ширину. Два железных засова и очень крепкий замок запирали плотную дубовую дверь. Голые стены были окрашены в светло-зеленый цвет, вверху – выбелены. Он знал наизусть все малейшие полосы, оставленные кистью; следы двух вытащенных гвоздей были замазаны краской. Рядом с полкой, на картоне, оклеенном белой бумагой, было написано: «Мартин Крюгер, № 2478 по реестровой книге, 3 года». Кроме того, здесь была также помечена дата начала отбывания наказания и конечный срок его. Затем еще: «Учинение ложной присяги, § 153». В углу стояла белая кадка для отправления естественных потребностей и, что совсем удивительно, висел градусник. Для письма – аспидная доска и грифель. В бумаге и чернилах ему пока было отказано.

Все вновь и вновь перелистывал он четыре брошюры, висевшие в углу камеры на нитке, пропущенной через продырявленные углы: книжка о борьбе с туберкулезом и алкоголизмом, книжка о страховании на случай смерти и потери трудоспособности, вдвойне нелепая в период инфляции книжка «О способах сбережения» и брошюра в черной обложке «Правила для заключенных».

Давно уже знал он все, что запрещено. Знал, что во втором абзаце главы о дисциплинарных наказаниях выпала буква, а на вклеенном дополнении о прогрессивной шкале наказаний было большое бурое пятно. Он знал наизусть каждую букву, вместе с сеткой бумаги, на которой она была напечатана. Запрещалось выглядывать в окно, сноситься с другими заключенными путем разговора, переписки или знаков. Запрещалась меновая торговля, прием или дача подарков. Запрещалось разговаривать с надзирателями, петь, свистеть и вообще шуметь. За каждое нарушение правил грозили определенные кары: уменьшение пищевого пайка, лишение койки, заключение в железную клетку, темный карцер.

В дополнении приводились выдержки из министерских циркуляров, касавшихся «прогрессивной шкалы наказаний». При хорошем поведении заключенные через определенный промежуток времени могли быть переведены на «ступень вторую». На ступени второй разрешалось получать газету и даже разговаривать во время прогулки по двору.

Посетителей Мартину Крюгеру разрешено было принимать раз в три месяца. Допущение свидания с лицами, не состоявшими с ним в родстве, как, например, с Иоганной Крайн и Каспаром Преклем, нужно было считать проявлением особой снисходительности властей, и Крюгер с жадностью считал дни, отделявшие его от следующей встречи с Иоганной и Преклем. Свидание длилось пятнадцать минут. Между посетителем и заключенным была решетка.

Письма Крюгеру на ступени первой разрешалось получать и писать раз в два месяца, на ступени второй – раз в месяц. Все письма проходили цензуру. За недозволенные сообщения налагались строгие взыскания. Нередко заключенному сообщали лишь имя и адрес отпра-

вителя адресованного ему письма. Самое письмо, содержание которого оставалось арестованному неизвестным, подшивалось к делу.

Однажды Мартин Крюгер попросил разрешения явиться к директору тюрьмы. Он стоял в коридоре с другими заключенными, выстроившимися в два ряда. Надзиратель ошупал его, чтобы удостовериться, нет ли при нем каких-либо инструментов или холодного оружия. Крюгер вошел в кабинет директора и, согласно правилам, назвал свое имя и номер.

– Что вам угодно? – спросил директор, маленький подвижный человек в пенсне, с высохшим пронырливым лицом и щетинистыми усиками. Его звали Фертч. Он состоял в чине обер-регирунгсрата, получал содержание по двенадцатому разряду и находился в таком возрасте, что ему для завершения карьеры оставалось всего несколько лет. В течение этих немногих лет должен был решиться вопрос, добьется ли он чего-нибудь в жизни. Он мечтал получить чин министриальрата, быть переведенным в тринадцатый, высший разряд по содержанию и затем уйти на пенсию с производством в министриальдиректоры.

Об окладе министриальдиректора, персональном окладе, выходящем за пределы каких бы то ни было разрядов, он и мечтать не смел. Остаться же тем, чем он был, – остаться обер-регирунгсратом, – это представлялось ему концом всего, концом бесславным и безрадостным. Его жизнь прожита напрасно, если ему суждено остаться оберрегирунгсратом. Итак, он жаждал сделать карьеру, ждал с каждым днем все более нетерпеливо, высматривал возможность показать себя, вечно был настороже. Его губы постоянно шевелились, отдельные торчавшие вокруг них волоски вздрагивали, придавая его физиономии какое-то сходство с кроликом.

– Итак, что вам угодно? – спросил он.

Он был полон любопытства и в тоже время недоверия, особенно по отношению к этому субъекту номер две тысячи четыреста семьдесят восемь, этому на шумевшему Крюгеру. Мартин Крюгер желал получить разрешение на выпуск книг.

– Вам, вероятно, недостаточно книг тюремной библиотеки? – спросил директор.

Губы, обросшие колючими волосками, вздрагивали, и вместе с ними вздрагивали волоски, торчавшие из маленького носа. Директор был хитер. Его «пансионеры» применяли множество уловок, это было в порядке вещей, но он оказывался всегда еще на градус хитрее их. Посылка книг неоднократно служила предлогом для того, чтобы передать арестованному либо получить от него контрабандным путем какие-нибудь сообщения. Приходилось тщательно просматривать книги, чтобы убедиться, не скрыто ли в переплете и не спрятано ли между двумя склеенными страницами какое-нибудь письмо. Это было весьма затруднительно.

– Нет ли у вас еще каких-либо желаний? – спросил Фертч.

Он любил едко и весело подшутить над своими «пансионерами».

– Есть, несколько, – ответил Крюгер.

– Скажите-ка, милый мой, – с подчеркнутым благодушием спросил Фертч, – вы не пробовали задать себе вопрос, в каком, собственно, качестве вы здесь находитесь: в качестве ли ученого литератора или отбывающего наказание арестанта?

Такая просьба со стороны заключенного ступени первой, по мнению Фертча, граничила с цинизмом. Он, Фертч, еще должен обдумать, не следует ли за такую наглость наложить взыскание. Отдает ли себе г-н Крюгер отчет, что в таком случае будет исключена всякая возможность сокращения наложенного на него по суду наказания?

Крюгер, несмотря на многократные замечания вызывающе улыбаясь, поправил его:

– Я рассчитываю не на «сокращение наказания», милостивый государь. Я рассчитываю на оправдание и реабилитацию.

На эти непонятно дерзкие слова и особенно на это «милостивый государь» человек с кроличьей мордочкой не нашелся что ответить.

– Марш! – скомандовал он, глотая слюну.

Широкая, слегка сутулая серо-коричневая спина Крюгера медленно скрылась за дверью.

Удивительно, что после этого случая Крюгер не был наказан и даже, после посещения какого-то инспектирующего важного чиновника, был продвинут на ступень вторую. Казалось, действовали какие-то влияния, стремившиеся смягчить приводимое в исполнение наказание, но тут же они сталкивались с другими, более суровыми течениями. Ходили слухи, что министр юстиции не стремится к особо суровому содержанию заключенного, но зато желает этого – не имеющий, правда, к делу прямого касательства – министр просвещения доктор Флаухер. Директор тюрьмы Фертч внимательно ловил всякий намек, чтобы прислужиться к членам кабинета, словно собака, во время хозяйской трапезы следящая за движениями своего господина из опасения упустить могущий выпасть на ее долю кусочек.

На ступени второй Крюгеру разрешили во время ежедневной прогулки разговаривать с одним из товарищей по заключению. Ему стали довольно часто передавать письма или во всяком случае сообщали их содержание, пропуская лишь места, считавшиеся недозволенными. В таких случаях оберрегистратор Фертч читал ему письма своим затхлым голосом, с ироническими подчеркиваниями, часто запинаясь, так как пропуски нередко начинались посреди предложения. Однажды он прочел Крюгеру письмо инженера Прекля. Каспар Прекль писал: «Дорогой доктор Крюгер! В свободное время я работаю над статьей „Искусство и техника“. Не падайте духом. Вам немало еще осталось поработать. Думаю, что моя статья понравится вам. Как только разрешат, я пошлю вам свою рукопись».

– Этому господину придется еще повременить, – благодушно вставил Фертч.

– «Я напал на след „Иосифа“...» – На этом директор оборвал чтение. Остальное, по его мнению, явно пахло условным воровским жаргоном. Мартин Крюгер поблагодарил, улыбаясь своей спокойной, вежливой, до самой глубины души раздражавшей директора улыбкой, и вышел из канцелярии менее вялой походкой, чем всегда.

Из тюремной библиотеки Крюгеру был выдан один из томов «Жизни животных» Брема. Он целиком погрузился в чтение этой книги. Трижды перечел ее от первого до последнего слова, прочел о странствиях леммингов, о воинственном духе и стадном инстинкте диких ослов, о простодушии слонов. Когда наступил срок возвращения книги, он так настойчиво стал просить, чтоб ее не отнимали, что ему оставили ее еще на неделю. В тот день, когда пришло письмо от Каспара Прекля, он читал о сурках, об отсевах и убийстве старых и больных животных, к которым прибегают здоровые перед тем, как переселиться в зимнее жилье. Он прочел о том, как они поддерживают свое тело жиром, а жилье укрепляют землей, камнями, глиной, травой и сеном, и о том, как затем время холодов они проводят, лежа в покоем на смерть оцепенении, неподвижные и застывшие, выдыхая в тридцать раз меньше углекислого газа, чем летом, экономя таким образом в тридцать раз больше кислорода и ожидая в этом разумном состоянии самонаркоза наступления теплого периода.

Этой ночью Крюгеру приснилось, будто он, разленившись, отдыхая после трудной и удачно завершенной работы, сидит в одном из кожаных кресел в своем кабинете, небрежно проглядывая какой-то модный роман. Внезапно раздается телефонный звонок, и чей-то голос говорит: «Не правда ли, вы то лицо, которое интересуется библейской картиной некоего Ландгольцера?» – «Да», – поспешно отвечает Крюгер. «В таком случае я мог бы...» – продолжает голос, но тут связь прерывается. Крюгер немедленно звонит на телефонную станцию и спрашивает, откуда ему звонили, но там грубо набрасываются на него: если он еще раз позволит себе такую наглость, на него будет наложено тяжелое взыскание. Вслед за этим ему снова звонят. Слышится тот же голос, он произносит те же слова – и на том же месте разговор прерывается. На этот раз Мартин Крюгер уже не решается позвонить на станцию. Он вспоминает, что у него нет проездного билета, и с беспокойством начинает рыться по всем карманам, но билета не обнаруживает. Он говорит себе, что его долг, несмотря ни на что, позвонить на станцию, но не решается это сделать. Ему звонят в третий раз, и снова на том же месте разговор прерывается.



Несколько дней спустя его снова вызвали в контору. Лицо маленького директора испещрилось тысячью саркастических складочек, волоски вокруг губ и те, что торчали из носа, вздрагивали, выражая иронию, когда он собрался читать письмо.

– Поздравляю вас, номер две тысячи четыреста семьдесят восемь, – произнес он в виде вступления. – Вам делают предложение!

Против обыкновения он затем не назвал отправителя, а сразу же приступил к чтению: «Дорогой Мартин! Я считаю своевременным привести в исполнение наше давнишнее решение и путем брака узаконить наши отношения. Мой юрист объяснил мне, что для этого и в настоящих условиях не может встретиться препятствий». Человек с кроличьими усиками не мог удержаться, чтобы короткой иронической паузой не подчеркнуть слов «в настоящих условиях». «Я предприму все необходимые подготовительные шаги». Заключенный, с губ которого уже в самом начале чтения сбежала обычная вызывающая улыбка, заметно вздрогнул, услышав эти слова письма. «При ближайшем свидании, надеюсь, смогу сообщить тебе все в окончательной форме».

– Подписи мне читать вам, верно, не к чему, номер две тысячи четыреста семьдесят восемь? – лукаво добавил директор. – Кстати сказать, эта дама права: у нас не раз заключались браки «в настоящих условиях». Поздравляю вас! Для вас получена также и посылка. Ввиду того, что вы теперь жених, я выдам вам ее, невзирая на некоторые сомнения, внушаемые мне вашим поведением.

Крюгер сильно дрожал. Слова с трудом вырывались из его горла.

– Благодарю, – сказал он. И добавил: – Нельзя ли мне взглянуть на письмо?

– Не думаете ли вы, что я подделал его? – с иронией спросил Фертч. – Вот оно! – и он швырнул Крюгеру письмо.

Оно было написано на машинке, походило на коммерческий документ и выглядело так же безразлично, сухо и неокрыленно, как и тот стиль, каким его писала Иоганна Крайн.

Плохие дни наступили затем для Мартина Крюгера. Голая камера наполнилась пестрыми картинками прошлого. Иоганна Крайн стояла здесь на своих крепких ногах, светлая, сильная, со смелым лицом, потом появился яркий южный ландшафт, потом – большие белые листы его рукописей, покрываемые быстрыми буквами, от которых поднимался чуть едкий запах блистательной, не до конца честной работы. Все это принесло беспокойство в его камеру. Исчезли «Иосиф и его братья». Этот красочный туман тревожил его во сне, заставлял его руки дрожать, когда он клеил свои кульки.

В ближайший дозволенный для отправки письма срок Крюгер послал ответ Иоганне Крайн. Он благодарил ее. Он еще подумает хорошенько. Это определенно нехорошо для нее, а может быть, нехорошо и для него. «Ломака! – подумал директор, проверяя содержание письма. – Впрочем, возможно, что между ними все это заранее условлено. Ну, меня-то они все равно не проведут!»

## 10. Письмо в снегу

Иоганна лежала в снегу, наслаждаясь, ни о чем не думая, отдыхая. Согласно моде того времени, она была одета по-мужски, в лыжный костюм с длинными шароварами. Иоганна собиралась отдохнуть лишь несколько минут. Она не отстегнула даже ремешков лыж; деревянные полозья их торчали под углом к распростертому на снегу, одетому в синее тело.

Вот уже восемь дней, как она жила в Гармише. Г-н Пфаундлер был прав: этот курорт нынче стал местом встречи «большеголовых» всего света. Но из лиц, близких к кругу г-жи фон Радольной, от которых она ожидала особенно многого, не было еще никого. Необходимость ждать мало беспокоила ее. С детства она много жила в горах и радовалась возможности походить на лыжах.

Лежа в снегу, Иоганна почувствовала, что в кармане у нее что-то захрустело. Письмо, врученное ей как раз перед тем, как она села в поезд, поднимавшийся к Гохэку. Она, не читая, сунула в карман это письмо с печатью Одельсберга, почтовой станции тюрьмы, где сидел Крюгер. Удивительно, как это за все время она ни разу не вспомнила о нем.

Но теперь она прочтет его. Доносящийся до нее крик мешает ей. Это начинающие лыжники, занимающиеся с инструктором. Вот она скатится в долину и там, а то и по пути, прочтет письмо. Она двинулась вперед по широкому свободному пространству. Встретился лесок. Его можно было объехать. Она закусила верхнюю губу, избрала более короткий и рискованный путь. С трудом пробралась сквозь деревья. Выбравшись из леса, снова, не снимая лыж, опустилась на снег. Теперь впереди оставалась лучшая часть пути – длинная, мягко спускающаяся дорога. Иоганна, улыбаясь, лежала в снегу и отдыхала, глубоко дыша в блаженной усталости. Вдруг она сделала над собой усилие, вся подобралась. Сейчас вот она прочтет письмо. Это, наверно, ответ на ее предложение обвенчаться.

Сунула руку в карман и не нащупала в нем письма. Стянула перчатку, снова порылась в кармане. Письма не было – она потеряла его. Неприятно было сознавать, что письмо Мартина Крюгера валяется где-то в снегу. Должно быть, она обронила его в лесу. Надо поискать. Возможно, что ей удастся найти его, вернувшись по своим же следам. Правда, солнце уже садится, скоро все окутает густой туман. Мартину Крюгеру не часто разрешается писать. Для него разрешение писать – целое событие.

Из леса показалась какая-то фигура. Мужчина, массивный, но нельзя сказать чтобы неизящный, в лыжном костюме кофейного цвета. Вот он подъехал ближе, остановился, глядя на нее подернутыми поволокой глазами; улыбаясь, стянул теплую, шерстяную, покрытую сосульками перчатку, протянул руку, сказал: «Здравствуйте».

Да, Пауль Гессрейтер приехал раньше, чем собирался. Вероятно, с его стороны было легкомыслием оставить без надзора свой керамический завод сейчас, в период инфляции, когда ежечасно нужно было следить за колебанием закупочных и продажных цен. Но это ему теперь совершенно безразлично. Раз она уже целую неделю здесь, то и он вовсе не намерен был дольше терять время. В гостинице ему сказали, что она уехала в Гохэк. Он звонил туда по телефону и, не застав ее там, просто-напросто покатыл вслед за ней в горы. Ну разве он не молодчина, что почуял, где она, и выбрал дорогу через лес?

Человек в кофейном костюме был весел, как мальчишка, и болтал без умолку. Так вот – в одном поезде с ним приехала целая компания: Пфаундлер, художник Грейдерер, а также и Рейндль, Пятый евангелист. Несимпатичный субъект, кстати сказать, препротивный! – кисло добавил он. Через несколько дней приедет и г-жа фон Радольная. Говорила ли уже Иоганна с министром юстиции Гейнродтом? Ну, это Гейер устроит. Иоганна как можно скорее должна сходить с ним в «Пудреницу» – это новое пфаундлеровское увеселительное заведение. Через два-три дня здесь прохода не будет от знакомых. В нынешнем году он только два раза ходил на

лыжах. С этой дурацкой инфляцией решительно ничего не успеваешь. Доллар стоит уже сто девяносто три пятьдесят. Кстати, он недаром катил по ее следу: он кое-что нашел. Поставив одну лыжу ребром, он изящным жестом руки в заиндевевшей перчатке протянул ей письмо из Одельсберга.

Иоганна взяла письмо, поблагодарила. Вскрыла конверт. Прочла. Три бороздки прорезали ее лоб. Мрачно глядели ее серые глаза, когда она рвала письмо Мартина Крюгера. Сотни мелких лоскутков бумаги, разлетаясь, казались грязными и ненужными на широкой белой снеговой поверхности.

– Едем! – сказала Иоганна.

Позже, в ванне, смывая чувство тяжести от грубой теплой одежды, она обдумывала написанное Крюгером – разобрала все, фразу за фразой. Как он ломался, как он хотел, чтобы ему навязывали то, к чему он сам стремился! Она надеялась, что хоть в камере он бросит рисовку. А он пишет такое вот письмо! Теперь оно, разорванное на сотню мелких лоскутков, валяется в снегу.

Легко здесь, в удобной комнате гостиницы в Гармише, критиковать письмо, написанное в Одельсберге, где за окном шесть замурованных между стен деревьев. Легко предъявлять требования человеку с серым лицом, когда сам имеешь возможность ухаживать за собой, хорошо питаться, наслаждаться солнцем и снегом.

Она сидела перед туалетным столиком, подтачивая, полируя ногти. Видно было, что они еще недавно были запущены, но скоро станут миндалевидными и будут отливать молочным блеском.

За обедом тетка своим громким голосом сообщила ей о появившейся в американском журнале подробной статье, посвященной делу Крюгера. Г-жа Франциска Аметсридер была благоразумная женщина и крепко стояла в жизни на своих коротких энергичных ногах. Участие ее в борьбе Иоганны, правда, ограничивалось сочными афоризмами общего, поучительного характера. Все же она производила импонирующее впечатление своим полным, плотным телом и ясными, смелыми глазами, когда, наклонив вперед огромную мужеподобную голову с коротко подстриженными черными волосами, сообщала какому-нибудь интервьюеру подробности дела Крюгера и Иоганны Крайн, перемешивая свою речь здоровыми сентенциями и красочными характеристиками баварских политических деятелей и журналистов.

Теперь она желала побеседовать с Иоганной. Ограничиваясь общими местами, она заговорила о склонности света делать сопоставления морального порядка там, где они, в сущности, вовсе не к месту. Например, хотя бы между роскошной жизнью Иоганны в обстановке гармишской зимы и арестантскими буднями в Одельсберге.

Иоганна не мешала ей говорить, слушала довольно вежливо и без всякой досады. Она часто теперь беседовала с тетушкой Аметсридер, терпеливо вдаваясь во всякие мелкие подробности. Все же о своих приготовлениях к венчанию с Мартином Крюгером она не сказала тетке ни слова.

## 11. «Пудреница»

Директор Пфаундлер провел г-на Гессрейтера и фрейлейн Крайн по всем помещениям «Пудреницы», хвастая тем, с какой ловкостью использован каждый уголок, как хитро всюду устроены скрытые от глаз ниши, ложи, «укромные уголки», как он их называл. Ему немало пришлось повоевать с художниками – Грейдерером и автором серии «Бой быков», пока они не согласились устроить эти «укромные уголки» так, как он хотел. Они и против такого количества облицовочных плиток возражали, эти дурни. Хотели, чтобы все было изящно, нежно, как подобало для восемнадцатого века. «Прекрасно, – говорил им Пфаундлер, – разумеется, „Пудреница“. Ясно! Но ведь главное в конце концов – это уют! Ну а теперь, когда все готово, скажите-ка сами, сударь вы мой, разве эти господа художники не имели такого же основания быть довольными, как и хозяин предприятия? „Пудреница“, восемнадцатый век – и в то же время уютно!» По-дедовски изящно скользили ноги по желтоватым и голубым плиткам – изделиям гессрейтерского завода. Создавая настроение, манили гостей «укромные уголки». Тут у чопорной иностранной публики неизбежно должны были раскрыться сердца.

И сердца раскрывались. Все места были заняты. Казалось, все приезжающие в Гармиш проводят вечера в «Пудренице».

Сейчас здесь исполнялась тщательно подобранная эстрадная программа. Г-н Пфаундлер провел своих мюнхенских друзей на особенно удобные места, указал им «укромный уголок», из которого они могли, оставаясь почти незамеченными, видеть все. Иоганна сидела рядом с г-ном Гессрейтером, почти не разговаривая. Медленным взглядом обводила она разодетых людей, болтавших на самых разнообразных языках о всевозможных мелких, незначительных приятных вещах. Ее внимание особенно привлекла худощавая женщина с нервным, оливкового цвета лицом и орлиным носом. Очевидно, она знала многих из присутствовавших в зале, для многих у нее наготове были веселые замечания, она часто подносила к уху трубку своего настольного телефона, но на Иоганну не глядела. Иоганна между тем не сводила с нее глаз и однажды заметила, как женщина на мгновение, считая, что никто не наблюдает за ней, вдруг до ужаса вся изменилась. Оживленное, умное лицо ее внезапно посерело, стало безнадежно усталым, похожим на лицо глубокой старухи. Эта худая дама, как объяснил господин Пфаундлер, была знаменитой чемпионкой по теннису Фенси де Лукка. Да, г-н Гессрейтер сразу узнал ее. Он видел однажды де Лукка во время игры. Изумительно, по его словам, это тренированное, напряженное тело в момент прыжка! Она, вот уже два года, чемпионка Италии. Но многие ждут, когда она уступит свое место; долго ей своего первенства не удержать.

Телефон на столе Иоганны зазвонил. Ее приветствовал художник Грейдерер. Она не видела его. Он подробно объяснил ей, где расположен его столик. Да, там действительно сидел художник, создавший «Распятие», среди шумной группы дешевого пошиба девиц и, глядя на Иоганну, пил за ее здоровье. Он имел в смокинге очень странный вид. Добродушную, крепкую крестьянскую голову подпирал белый воротничок, руки как-то нелепо высывались из белых манжет. Затем он по телефону сказал что-то Гессрейтеру. Иоганна видела, как подмигивают его хитрые глазки и как хохочут дешевого пошиба девицы. Нет, ему успех не пошел впрок. Гессрейтер считал, что он явно опускается в круг «зайчат», как Грейдерер называл своих дешевых девиц. Пфаундлер заметил, что придворный штат художника Грейдерера и его мамы обходится недешево. Господин художник умеет набивать себе цену. Ему, Пфаундлеру, тоже пришлось выложить Грейдереру немалый куш. Но во-первых, сейчас инфляция, а во-вторых, слава художника – это такая штука, которую он бы не принял в обеспечение долга. «Инфляция, впрочем, не будет тянуться до бесконечности», – туманно добавил он.

Над переносицей Иоганны обозначились три вертикальные бороздки. Разве сама она не жила здесь, в Гармише, не по средствам? С тех пор как она зарабатывала больше, чем на самое

необходимое, она уж не рассчитывала боязливо расходов, но никогда в то же время особенно не швыряла деньгами. Сейчас ей нужны были деньги, которые можно было бы тратить не считая. В то время как во всей остальной Германии гибли от голода, здесь, в Гармише, наслаждались излишеством и изобилием. Здесь жили главным образом иностранцы, которые благодаря инфляции могли, в сущности за гроши, купаться в роскоши. Никто не спрашивал о ценах. Только тетка Амётсридер мрачно покачивала своей огромной мужеподобной головой и в сильных выражениях предсказывала грядущую катастрофу. Что останется делать Иоганне, когда до конца будет исчерпан ее текущий счет в банке? Просить денег у Гессрейтера? Она сбоку поглядела на г-на Гессрейтера, который сидел рядом с ней, спокойный, веселый, медленно отбивая пальцами такт музыки. Очень трудно так вот, ни с того ни с сего, попросить у человека денег. Она еще никогда не пыталась это делать. Г-н Гессрейтер поглядел на Иоганну своими подернутыми поволокой глазами. Он указал ей на человека, изощрявшегося сейчас на эстраде. Это был своего рода музыкальный клоун. Он остроумно и зло искажал знакомые музыкальные мотивы. «Когда-то, – с насмешкой пояснил Пфаундлер, – этот человек был революционером в своей области. Его программой была автономия художника-исполнителя. Он утверждал, что для настоящего артиста оригинал – то есть в данном случае произведение композитора – лишь сырой материал, из которого он имеет право создать все, к чему он чувствует себя призванным. Его своеобразная, вызывавшая споры интерпретация классической музыки пользовалась огромным успехом у одних и вызывала бешеные нападки других. Затем он постепенно надоел публике. А теперь вот, – закончил Пфаундлер, – он стал артистом кабаре – и хорошо сделал!»

Не будучи очень музыкальной, Иоганна рассеянно прислушивалась к изощрениям человека на эстраде. Ей казалось, что на нее обращают больше внимания, чем в начале вечера. Она вскользь сказала об этом Гессрейтеру. Тот ответил, что давно уже наблюдает за художником Грейдерером и видит, как тот таскается от столика к столику, разнося по залу подробности истории Иоганны Крайн. Все чаще взгляды обращались к укромному уголку, где она сидела.

Снова зазвонил ее настольный телефон. Голос в трубке просил Иоганну взглянуть в сторону ложи Фенси де Лукка. Красивым жестом смуглая женщина подняла бокал. Ее лицо озарилось ярким, теплым светом. Так, на глазах всего зала, следившего за ее жестом внимательнее, чем за происходившим на сцене, Фенси де Лукка, не сводя с Иоганны своих темных мятежных глаз, выпила за ее здоровье. Иоганна вспыхнула от радости. Ее серые глаза засветились в ответ благодарностью к знаменитой итальянке, так подчеркнуто выразившей сочувствие ей, никому не известной, и ее делу.

Но вот зал, впервые за весь вечер, погрузился во тьму. На эстраде появилась Инсарова. Это было первое выступление танцовщицы перед действительно требовательной публикой. Болтовня Пфаундлера должна была, разумеется, служить лишь рекламой. Он выкопал эту Инсарову в каком-то невзрачном кабачке в Берлине, в районе Фридрихштадт, где она подвизалась в качестве шансонетки. Сейчас он со страстным интересом проверял, оправдается ли его чутье, жадными мышиными глазками наблюдал за производимым ею впечатлением. Ее худощавое покорное тело без особых претензий на искусство скользило по эстраде, слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкали зрителей. В обычно бесцеремонно-шумном зале стало тихо. Англосаксы сидели выпрямившись, один из них, собиравшийся набить трубку, отложил ее в сторону. Инсарова разыгрывала какую-то несложную пантомиму, сентиментально и бесстыдно, как показалось Иоганне, пожалуй даже глуповато, во всяком случае банально. Маленькая эстрада была теперь вся погружена в темноту. Прожектор выделял танцовщицу из мрака, выхватывая также небольшой сектор зрительного зала, в сторону которого актриса внезапно повернулась, танцуя. По залу пробежало беспокойство. Все глядели в сторону, освещенную прожектором. Там, выделенный из мрака снопом лучей, сидел слащавого вида молодой человек, безусловно не актер, один из их среды, из публики. Да, не могло быть сомнений – для него плясало это тоненькое, возбуждавшее желания существо там на эстраде, на него гля-

дели ее влажные, слегка раскосые глаза, для него изгибались ее покорные члены. Беспокойство возрастало. Слащавый юноша сидел все так же невозмутимо, потягивая свое питье. Неужели он не замечал глядевших на него из мрака завистливо-любопытных глаз? Худенькую женщину на эстраде охватывала все более страстная покорность, ее щеки западали, придавая лицу что-то детское, ее пляска с обнаженной, бесстыдной, зовущей мольбой тянулась к неподвижному человеку за столиком. В конце концов она без сознания упала на пол. Легкие вскрики женщин. Мужчины приподымаются, музыка умолкает. Занавес, однако, не опускается. После нескольких полных напряжения, волнующих мгновений женщина с улыбкой поднимается с пола, пляшет так же чувственно и бесстыдно, как и вначале, обнажая мелкие влажные зубы, кажется юной и хорошенькой; слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкают зрителей. Еще несколько тактов, и она кончает. Молчание, затем отдельные свистки, затем – гром бешеных рукоплесканий.

– Рискованная штука! – говорит г-н Гессрейтер.

Пфаундлер с удовлетворением фыркает, прощается, улыбаясь. Он очень гордился своим чутьем. Если (что случалось очень редко) нюх, его главное дарование, обманывал Пфаундлера, то это огорчало его больше, чем потеря денег. Сегодня пример Инсаровой доказал, что нюх у него тонкий.

Не успел он отойти, как г-н Гессрейтер неожиданно спросил:

– Правда ли, что вы выходите замуж за доктора Крюгера?

При этом он не глядит на Иоганну. Его темные глаза устремлены куда-то в зрительный зал, полные холеные руки играют стаканом. Иоганна не отвечает. Лучи света отражаются в ее блестящих ногтях. С непроницаемым видом глядит она в пространство. Г-н Гессрейтер не знает даже, слышала ли она его вопрос. Нет, это не так: он, конечно, знает, что она слышала. Знает также, что эта высокая девушка интересуется его больше, чем он этого желал бы. Он не хочет себе в этом признаться. Он и не думает позволить проснуться в себе таким чувствам. Такой бонвиван, как он, занят совсем иными вещами, и, обращаясь к Иоганне, он отпускает циничное замечание по адресу одной из голых девиц, выступающих сейчас на пфаундлеровской эстраде.

Иоганна все с тем же непроницаемым лицом заявляет, что устала. Но в то время как г-н Гессрейтер, слегка задетый этими словами, предлагает проводить ее домой, подоспевший откуда-то Пфаундлер настаивает, чтобы они еще посмотрели игорные залы и прежде всего «интимный зал» во время игры. Он просит их, закликает, пока наконец Иоганна не сдастся.

В «интимном зале» г-н Гессрейтер быстро отыскал для себя и Иоганны хорошие места. Поставил большую сумму. Проиграл. При ближайшем удобном случае поставил снова. Сказал, глядя на руки банкмета:

– Итак, вы выходите за Крюгера. Странно.

Он продолжал играть задумчиво, меланхолически, сильно рискуя. Много проиграл. Предложил Иоганне принять участие в его игре. Иоганна сидела рядом, не испытывая интереса к игре, которой не понимала. Она думала о том, что это большие деньги, что на них можно было бы много недель прожить в Гармише. Неожиданно за ее спиной оказалась Инсарова, поздоровалась с ни на чем не основанной сердечностью, горячо стала советовать Иоганне принять участие в игре Гессрейтера. Гессрейтер поставил сразу целую грудку игральных марок, пробормотав, что это для Иоганны. Иоганна рассеянно глядела на лица игроков, на пухлые руки Гессрейтера, на нервный, выразительный профиль Инсаровой, наклонившейся к ней, сопровождавшей игру Гессрейтера восторженными восклицаниями и обнажавшей при этом мелкие влажные зубы.

Иоганна не следила за игрой. Ей казалось, что Гессрейтер в большом проигрыше. Внезапно он заявил, что теперь довольно – игра, по-видимому, ей наскучила. Он пододвинул к Иоганне большую пачку кредиток и марок, пояснив, что это ее доля. Иоганна взглянула на него,

удивленная. Инсарова, резко побледнев, переводила взгляд с одного на другого. Куча денег, лежавшая перед Иоганной, представляла собой значительную сумму. Даже в том случае, если ей еще на месяцы будет запрещено заниматься своей профессией и как бы дорого ни обошлось пребывание в Гармише, ее текущий счет не так-то скоро будет исчерпан. Она взглянула на Гессрейтера. Тот стоял с подчеркнуто безразличным видом, держа остаток денег в руках. Его баки чуть-чуть вздрагивали. Он определенно нравился Иоганне – он умел красиво давать деньги.

Затем он проводил ее до гостиницы. Идти было недалеко. Была ясная морозная ночь.

Инсарова, стоя у окна игрального зала, глядела им вслед. Она казалась осунувшейся, усталой. Около нее стоял Пфаундлер, в чем-то ее убеждая. Взгляд его крохотных мышиных глазок под шишковатым черепом неустанно скользил по ее худенькому телу.

Навстречу Иоганне и Гессрейтеру шел человек. Бесформенный в своей толстой шубе, он шел, не глядя по сторонам, один в эту светлую, снежную ночь, и походка его казалась неестественно легкой при его массивной фигуре.

– Пятый евангелист! – сердито прошептал г-н Гессрейтер. – Заваривает здесь какую-то подлую кашу с одним из рурских угольных божков!

При слабом свете Иоганна смутно разглядела над темно-коричневой шубой мясистое лицо, верхнюю губу и густые, выпуклые черные усы. Г-н Гессрейтер неуверенно поднял руку к шляпе, как будто собираясь поклониться. Но прохожий не заметил его или не узнал, и г-н Гессрейтер воздержался от поклона.

Молча прошел он с Иоганной остаток пути.

– Итак, вы выходите замуж за Крюгера, – проговорил он наконец. – Странно, странно.

## 12. Живая стена Тамерлана

Иоганна Крайн в сопровождении адвоката Гейера отправилась к имперскому министру юстиции Гейнродту, ненадолго прибывшему в Гармиш для отдыха. Доктор Гейнродт остановился не в одном из больших, шикарных отелей Гармиша, а в недорогом и простом пансионе «Альпийская роза» в конце главной улицы, тянувшейся через оба сливающиеся вместе поселка – Гармиш и Партенкирхен.

Министр юстиции принял своих гостей в небольшом кафе, принадлежащем пансиону «Альпийская роза». Это был прокопченный табачным дымом зал с круглыми мраморными столиками и плюшевыми диванами вдоль стен, жарко отапливаемый большой изразцовый печью. По стенам тянулись гирлянды альпийских роз. Над ними в бесчисленном повторении плясали, ударяя себя по ляжкам, парни в зеленых шляпах и девушки в широких юбках и узких корсажках. За мраморными столиками сидели мелкие буржуа в нескладной зимней одежде – в шалях, охотничьих куртках, крылатках, – макая в кофе жирное пирожное. Доктор Гейнродт был приветливый господин в очках, с добродушной окладистой бородой. Он любил, когда поражались его сходством с известным индийским писателем Тагором. Он долго и мягко глядел своим гостям в глаза, помог Иоганне снять жакет, дружески похлопал Гейера по плечу. Затем они устроились за одним из круглых столиков в углу на бархатном диване; беседуя, пили кофе. Кругом сидели другие посетители, которые, стоило им только напрячь слух, могли слышать каждое слово.

Иоганна была молчалива, больше говорил адвокат, доктор Гейер, а больше всех – министр юстиции. Он проявил себя человеком удивительной начитанности, читал большинство книг доктора Крюгера, очень его ценил, бесконечно скорбел об его участии. Он вполне готов был допустить, что Мартин Крюгер невиновен. Но министр обладал широким кругозором и был склонен к обобщениям, в которых затем безнадежно увязал. Иоганна устала. Ее до тошноты раздражала эта бездейственная, все понимающая кротость. Из тончайших и остроумных рассуждений министра она успела уловить лишь, что мыслимы случаи, когда по отношению к человеку во имя права приходится совершать несправедливость, что власть, опирающаяся на успех, сама создает право и что в конце концов порою бывает гораздо важнее сам факт существования какого-то спора, чем его исход.

В небольшом зале было нестерпимо жарко. Входили и выходили люди. Альпийские розы с девушками в широких юбках и парнями в зеленых шляпах вились вдоль стен. Звенели кофейные чашки. Седая кроткая борода министра поднималась и опускалась, его глаза, глаза доброго дядюшки, благожелательно останавливались на смуглом широком лице Иоганны, понимали и прощали неугомонного мученика Гейера, молчаливость и досаду Иоганны, медленное обслуживание гостей в маленькой кондитерской, всю жизнь этого свежего, роскошного зимнего курорта посреди обнищавшей части света.

Адвокат и министр вели оживленный остроумный спор по вопросам философии права. Беседа давно уже уклонилась в сторону от вопроса о докторе Крюгере. Просто два свободомыслящих юриста разыгрывали перед случайной зрительницей интересный турнир. Какая-то странная скованность охватывала Иоганну от этого рокового всепрощения кроткого старца, который с самыми добрыми намерениями гнуснейшие судебные решения топил в море много словного понимания, несправедливые, бесчеловечные приговоры укутывал в вату своей благожелательной философии.

Иоганна многого ждала от этой встречи с министром юстиции, о человеколюбии которого всюду говорили. Его присутствие здесь и послужило для нее одним из главных поводов поездки в Гармиш. И вот она сидит в этом жалко убранном душном зале, где после живительного свежего воздуха человека охватывает вялая лень и все начинает казаться мрачным и



безнадежным. Какой-то старичок макает в кофе пирожное и говорит, другой человек, более молодой и нервный, занятый тысячью других вопросов, тоже говорит, а Мартин Крюгер в это время сидит в камере – четыре метра в длину и два в ширину, – и его счастливейший час в течение дня – это час, проводимый среди шести замурованных деревьев.

Плечи Иоганны опустились. Чего ради сидит она здесь, с этими людьми? Чего ради сидит она в Гармише? Все это было совершенно бессмысленно. Смысл имело, быть может, уехать в деревню, работать в поле, родить ребенка. Министр настроился между тем поэтически. Его монотонный, поучающий голос вещал:

– Диктатор Тамерлан в стену, окружавшую его владения, замуровывал живых людей. Стена права достойна таких человеческих жертв!

Но вот адвокат Гейер перешел в решительное наступление. Он был в ударе. Его зоркие, настойчивые голубые глаза не отпускали собеседника, его голос, не слишком громкий (чтобы не привлечь внимания окружающих), звучал твердо и убедительно. Он говорил о бесчисленных мертвецах – жертвах мюнхенских судебных процессов, о расстрелянных и заточенных в тюрьмы, об осужденных за убийство, но убийства на самом деле не совершавших и о бесчисленных убийцах, не привлекавшихся к ответу за убийство. Он не забыл и о мелких подробностях. Не забыл о мебели, описанной у жены осужденного за какой-то нелепый проступок, – описанной на покрытие очень крупных судебных издержек за время затянувшегося процесса, которых она не могла уплатить. Не забыл и о расходах на казнь расстрелянного по обвинению в государственной измене, возмещения которых сейчас вторично требовали у матери расстрелянного – «уплатить в недельный срок во избежание продажи с торгов имущества».

Одурманенная болтовней старика и царившей в комнате жарой, Иоганна с трудом могла уследить за быстрыми словами адвоката. Странно: второстепенные подробности производили на нее большее впечатление, чем значительные факты. Чудовищно число бессмысленно убитых, с желтым лицом и продырявленной грудью, наспех закопанных ночью в лесу и неотомщенных. Страшны цифры расстрелянных, словно при охотничьей облаве, целыми партиями в каменоломне, брошенных в яму и посыпанных сверху известкой, и неотомщенных. Страшны были убитые, валявшиеся у стены казармы, послужившие мишенью десятку равнодушных ружейных дул, невинные, но убитые во имя права. Но всего омерзительнее спирало дыхание от чиновничьей руки, предъявлявшей матери счет за пули, израсходованные на расстрел сына.

Министр, как ни порицал он приведенные факты, все же готов был понять и их. Под звуки маленького оркестра, состоявшего из скрипки, цитры и гармоники, он и эти «судебные ошибки» влил в общее море понятия права. Необходимо соблюдать автономию судей; без нее нет твердого права. Все же он, Гейнродт, насколько это было возможно без нарушения основных принципов, всегда старался смягчать жестокость приговоров.

Но по делу Крюгера он ничего сделать не может. Формального повода к вмешательству налицо нет. По какому праву стал бы он вмешиваться в дела своего баварского коллеги? Иоганна стянула наконец охватившее ее оцепенение и с горячностью восстала против речей кроткого человеколюбивого старца, будто слоем песка прикрывавших всякий вопль страдания. Неужели, по его мнению, нет способа освободить невинного из стен одельсбергской тюрьмы? Неужели любой человек может быть отдан во власть самодурства всякого судебного чиновника?

Здесь – известный риск, на который общество, вступая в определенные общественно-договорные отношения, должно идти, – пояснил министр, отечески снисходительно принимая ее возбуждение и неподобающе резкий тон. По служебной линии, как им уже было сказано, он ничем в деле Крюгера помочь не может. Он советует обратиться к землевладельцу доктору Бихлеру, чрезвычайно влиятельному лицу, умному, не обращающему внимания на вопросы престижа, человеколюбивому.

Министру подали пачку газет. Продолжая беседу, он не переставал коситься в их сторону. Кельнерша принесла счет. Адвокат Гейер долго, как коллега с коллегой, прощался с министром. Иоганна почувствовала в своей руке вялую руку старца. После этой беседы ей хотелось пройтись одной, подышать свежим морозным воздухом. Но доктор Гейер присоединился к ней. Прихрамывая, шел он рядом с ней, уговаривая и убеждая полную сомнения и досады женщину в том, что у него лично осталось от беседы с министром благоприятное впечатление. Красивая, хорошо одетая женщина и прихрамывающий мужчина с выразительным утомленным лицом привлекали к себе взоры прохожих.

В зале гостиницы, где они пили чай, адвокат также привлекал внимание посетителей. Однако он не мог бы – он чувствовал это – конкурировать с изящными профессиональными танцорами, привлеченными Пфаундлером специально для вечернего чая. В те годы распространился обычай, согласно которому женщинам, любившим повеселиться в общественных местах, предоставлялись в распоряжение профессиональные танцоры. Здесь в гостинице, где жила Иоганна, было четверо таких господ. Один – венец, белокурый, несколько полный, но подвижный, с улыбкой на губах; другой – сильное, резко очерченное лицо, стройная, подбранная фигура, монокль – северогерманец; третий – брюнет, невысокого роста, насмешливый и в то же время сентиментальный взгляд – румын; четвертый – худощавый, несколько развинченный, спокойный – норвежец. Эти четверо, таким образом, находились в распоряжении танцующих дам. Искусно и строго безлично проделывали они бурные движения модных в те годы негритянских танцев. Их кожа, волосы, ногти были выхолены, костюмы безукоризненно изысканны – женщина в их объятиях производила выигрышное впечатление. Каждый танец учитывался и вписывался в подаваемый даме счет, наряду с пирожным и кофе.

Доктор Гейер силился вернуть себе в глазах Иоганны блеск, утраченный им, как ему казалось, после безуспешной беседы с министром. Прежде всего он дал ей ряд практических указаний, каким способом добиться встречи с этим могущественным нижебаварским кротом, доктором Бихлером. Добраться до него можно было, только когда он путешествовал. А путешествовал слепой Бихлер часто: он любил делать «большую политику», рыл соединительные ходы к Парижу и Риму.

И тут адвокат доктор Гейер окунулся в такую область, где он в наиболее ярком свете мог показать свои способности. В то время как наемные танцоры изящно и бесстрастно изгибали свои тела, он принялся в тоне излюбленного им римского историка Тацита четко, со страстной логикой разбирать перед Иоганной структуру баварской политики. Бавария недаром согласилась на составленную Гуго Прейсом конституцию Германии. Баварцы, правда, бранятся, ворчат, отплевываются по адресу этой конституции, но немногие, остающиеся в тени фактические правители Баварии, вроде экономического советника Бихлера, прекрасно знают, что эта конституция выгодна именно баварцам. Ибо они на практике истолковали конституцию так, что именно они превратились в основную движущую пружину имперского механизма. Они выдвигают кандидата на пост военного министра. Они с успехом комментируют конституцию так, что до происходящего в Баварии всей Германии нет дела, но что одновременно все происходящее во всей Германии требует санкции и утверждения Баварии. Они отдают дань своей страсти к потасовкам, избивая членов международных комиссий, а счет для уплаты представляют общегерманскому правительству. Они отдают дань своей страсти к театральности, издеваясь над четко выраженными постановлениями общегерманского правительства и осыпая своих сторонников нелепыми званиями и титулами. Они отдают дань своей ребячески упорной страсти к самовластью и партикуляристскому развитию, отказываясь от проведения в жизнь общегерманских амнистий и создавая автономные «народные суды», служащие для устранения всех неугодных своему правительству лиц. Они ведут сепаратную внешнюю политику, заключают особые договоры с Римом и вынуждают общегерманское правительство выражать свое согласие. Они строят свое лучшее сооружение – Музей техники – на средства всей страны, но под-

черкивают, что оно создано Баварией, и в праздничные дни украшают его баварскими флагами, отказываясь вывешивать общегерманский флаг. Их унитаризм в экономике заключается в том, что они вымогают у общегерманского правительства гораздо большие денежные субсидии, чем составляет их доля участия в общегерманских расходах. Недаром поэтому человек, который вершит всеми делами, – а именно нижебаварский крот, доктор Бихлер, – чувствует себя не только баварским, но и общегерманским диктатором.

Все это адвокат доктор Гейер четко и красноречиво, не отвлекаясь второстепенными вопросами, излагал Иоганне. Он сидел весь подобрavшись. Его глаза из-за толстых стекол очков сосредоточенно глядели прямо вперед, обтянутые тонкой кожей руки лежали неподвижно. Иоганне, не особенно интересовавшейся государственными вопросами, невольно передалось то напряжение, с которым адвокат деловито и в то же время страстно, горя холодным огнем, излагал перед нею свои мысли. Она задавала себе вопрос, почему же этот человек, сумевший заставить ее, баварку, посмотреть на свою страну его глазами, растрачивал свои большие силы на будничные мелочи, вместо того чтобы заниматься научными изысканиями и обнародовать их результаты. Она мысленно поставила рядом с адвокатом Гейером министра Гейнродта: оба годны лишь на то, чтобы видеть вещи такими, какие они есть, но оба не в состоянии претворять свои выводы в действие.

Г-н Гейер умолк. Он помешивал ложечкой чай, слегка потел, протирал очки, сидел с несчастным видом, изредка оглядывая кого-нибудь из проходивших пронизывающим взглядом. Наемные танцоры вели, тащили, швыряли своих дам – дико и в то же время бесстрастно и корректно. Кто-то, пройдя по залу, приблизился к их столику. Молодой человек, прекрасно одетый – очень белые зубы, худощавое лицо, насмешливое и легкомысленное. Легкий запах сена и кожи, неповторимый запах каких-то мужских духов разнесся вокруг, как только он подошел. Заметив молодого человека, доктор Гейер вздрогнул, нервно замигал. Руки его заходили ходуном. Молодой человек нагло-фамильярно, слегка насмешливо кивнул адвокату и, устремив светлые дерзкие глаза на Иоганну, склонился перед ней. Адвокат сделал над собой усилие, постарался сохранить внешнее спокойствие, не глядел на юношу, глядел только на Иоганну. А она – да, она, Иоганна Крайн, для которой он только что рассыпал столько искусства и остроумия, – поднялась, чтобы пойти танцевать с чужим, совершенно чужим, пахнувшим сеном и кожей, легкомысленным, подозрительного вида господином. Ведь она не могла знать, что это был Эрих Борнгаак, его сын.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.